

ПТИЧИЙ РЫНОК

люди, львы, орлы и куро-
патки,
пауки, молчаливые рыбы
и другие животные в исполнении
современных писателей

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, АЛЕКСАНДР ГЕНИС,
НАРИНЭ АБГАРЯН, АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ, ГРИГОРИЙ СЛУЖИТЕЛЬ,
ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ, ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА,
АЛЕКСАНДР СНЕГИРЕВ, КСЕНИЯ БУКША, МАКСИМ АВЕРИН,
ЕКАТЕРИНА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

Москва: место встречи

Людмила Улицкая

Птичий рынок

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Улицкая Л. Е.

Птичий рынок / Л. Е. Улицкая — «Издательство АСТ»,
2019 — (Москва: место встречи)

ISBN 978-5-17-116179-8

“Птичий рынок” – новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции бестселлеров “Москва: место встречи” и “В Питере жить”: тридцать семь авторов под одной обложкой. Герои книги – животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша... Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова. Издание иллюстрировано рисунками молодой петербургской художницы Арины Обух.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-116179-8

© Улицкая Л. Е., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Наринэ Абгарян	6
Дмитрий Воденников	11
Татьяна Толстая	18
Александр Генис	20
Яна Вагнер	26
Роман Сенчин	33
Максим Аверин	46
Евгения Некрасова	48
Сказка первая. Лошадиный марш	48
Сказка вторая. Гости-аисты	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Коллектив авторов

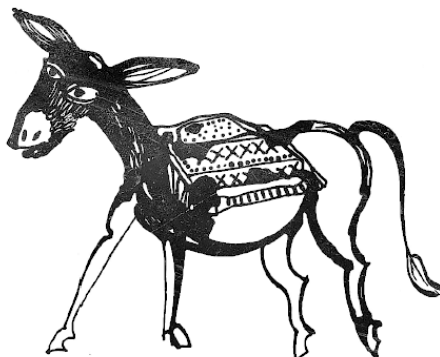
Птичий рынок

- © Е. Водолазкин, Т. Толстая, Л. Улицкая и др., 2019.
- © А. Бондаренко, художественное оформление, 2019.
- © А. Обух, иллюстрации, 2019.
- © Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2019.
- © ООО «Издательство АСТ», 2019.

* * *

*Живое воспитывает живых – объясняли родители и на Птичий
рынок водили для радости.*
Юрий Рост

Наринэ Абгарян Марлезон



У Бочканц Ованеса сложились очень уважительные отношения с ослом Марлезон и крайне неуважительные – с пчелами. Казалось бы, тоже мне беда. В конце концов, не каждому дано жить в мире и согласии со всеми божьими тварями. Но Бочканц Ованес был пасечником. Мастером своего дела. Практически лучшим. И подобный оксюморон омрачал ему жизнь.

Отношения с пчелами испортились совсем недавно, потому собирался он теперь на пасеку, как на войну. Надевал сорочку с длинным рукавом, застегивался на все пуговицы. Брюки заправлял в носки. Проверял защитную сетку на маске с той тщательностью, с какой аквалангист обследует оборудование перед погружением. Приобрел в хозяйственном длинные плотные резиновые перчатки и попросил жену тщательно приладить к ним лямки. Сатеник, памятуя о несговорчивом характере мужа, возражать не стала, только спросила, зачем ему это надо.

– Ты приладь, там видно будет! – отрезал Ованес. У него всегда портилось настроение, когда задавали несанкционированные вопросы.

– И-их, неуступчивый баран, – вздохнула Сатеник и пустила на лямки старое кухонное полотенце.

Ованес надевал перчатки загодя, на подступах к пасеке. Лямку с левой перчатки перекидывал на правое плечо, с правой – на левое. Получалась диковинная, но надежная конструкция: лямки перетягивали грудь и давили на шею, но спасали от внезапной потери перчатки.

– А вдруг она свалится, когда я в улей полезу? – объяснял Ованес Марлезону. Марлезон водил ушами и одобрительно фыркал – в отличие от Сатеник, он понимал своего хозяина с полуслова.

Дополнительной защитой пришлось озаботиться после того, как пчела ужалила Ованеса в ухо. За сорок лет это был чуть ли не сотый случай, но в этот раз всё пошло наперекосяк – ухо моментально вспухло футбольным мячом и подозрительно запульсировало. Следом принялась раздуваться шея.

Ованес выронил крышку улья и, пренебрегая мирно пасущимся невдалеке домашним транспортом, припустил к деревне. Марлезон помчался следом, возмущенно иа-иакая. Так и добрались до поликлиники – впереди распухший до размера камазной покрышки Ованес, следом – оскорбленный до глубины своей ослиной души Марлезон.

– Наконец-то ты оправдываешь прозвище своего рода, – хохотнул дежурный врач, ставя спасительный укол.

Ованес хотел было огрызнуться, но не смог – вздувшиеся губы не шевелились. Он недовольно замычал, давая понять бесцеремонному доктору, что тот выбрал не самое подходящее время для шуток. Доктор замахал руками и примирительно улыбнулся.

Род Бочканц унаследовал прозвище от Шмавона, который был таким толстым, что все его называли бочкой. Ованес застал последние годы жизни прапрадеда, тот целыми днями лежал на тахте – большой, неповоротливый – и одышливо матерился в потолок.

Впервые услышав его сквернословие, Ованес ужасно заволновался – над потолком как раз находилась спальня его родителей.

– Апи¹, это ты на маму с папой ругаешься?

Прапрадед чуть не поперхнулся.

– Собакин щенок, при чем здесь твои мама с папой? Я Создателя ругаю. Почему он меня таким толстым сотворил? А в придачу еще и коротышкой! Совесть у него есть?

Прапрадед к концу жизни оглох, но силу голоса не растерял. Потому высказывал свои претензии небесной канцелярии до того громогласно, что куры на том конце деревни от испуга по несколько раз на дню неслись. Контуженная его сквернословием небесная канцелярия, по-видимому, сделала правильные выводы. И все потомки прапрадеда получались худощавыми и высоченными. Но прозвище всё равно носили Бочканц – из рода Шмавона-Бочки.

Отек спал только к вечеру. Ованес вернулся домой и огорошил жену новостью, что у него обнаружилась непереносимость пчелиного яда.

– Но ведь раньше ничего такого у тебя не было! – удивилась она.

– Раньше не было, а теперь есть.

– Говорили же, что пчелиный укус не ядовитый! – не унималась Сатеник.

– Раз не ядовитый, иди опрокинь на себя улей! А мне одного раза хватило, – рассердился Ованес.

Отказываться от промысла, приносящего стабильный доход, он не собирался. Просто придумал дополнительные меры защиты – хозяйственные перчатки на лямках, плотная сорочка с длинным рукавом и заправленные в толстые носки брюки – даже в самое пекло.

Односельчане поговаривали, что в городе есть специальные магазины для пчеловодов, где можно купить костюм, в котором тебя не то что пчела не ужалит, а лев не прокусит. Но Ованес этим слухам не верил. Он вообще городским не доверял. Что они понимают в пчелах? Ровным счетом ничего. Так чего ради должны придумать годный защитный костюм? Вздор всё это! Человек, оторванный от природы, черствеет душой. Какой с него спрос? Соврет и не застесняется.

Несмотря на тщательно подбираемую амуницию, он лелеял тайную надежду, что случай с аллергией на укус пчелы не что иное, как глупое недоразумение. Исключение из правил. Раз в год и палка стреляет. Но это же не означает, что она превращается в ружье!

Вон Марлезон. С ним ведь тоже не сразу сложились паритетные отношения. Всю душу вынул, пока человеком стал. Купил его Ованес у Назинанц Сурена за большие деньги – шестьдесят американских долларов. Сурен переезжал к сыну в Небраску, вот и распродал домашнюю живность за доллары. Ованес натянул отцовский патронташ, съездил в райцентр, напустил грозным видом страху на работника банка, чтобы тот не смел ему фальшивые деньги продавать, а далее, тщательно припрятав три двадцатидолларовые бумажки в нагрудный карман, поехал к Сурену.

Со старым хозяином осел распрощался сдержанно – только хвостом шевельнул. За Ованесом шел с достоинством, брезгливо обходя лужи. Фортель выкинул, не дойдя двадцати метров до калитки: встал как вкопанный посреди улицы – и всё. Ни туда и ни сюда. Промучившись с ним битый час, Ованес махнул рукой и ушел в дом – надумает, сам придет.

¹ Сокращение от *апунап* – прапрадед (арм.).

Упрямое животное простояло так три дня. Ованес всё это время наблюдал за ним с веранды. Сатеник выносила поесть и попить. Осел сено игнорировал и даже от морковки морду воротил, но воду пил. И угрюмо молчал. На третий день Ованес, проклиная всё на свете, пошел к Сурену.

– Иди заberi своего осла, обманщик! – крикнул он ему с порога.

– В смысле “обманщик”? – обиделся Сурен.

– Издеваешься, что ли?

– Вообще нет!

– Это животное третий день на дороге стоит, во двор не заходит!

– Не может такого быть!

– Сурик, хоть ты и диплом имеешь, ты всё равно говно-человек. Не мог предупредить, что осел с приветом?

– При чем здесь мой диплом? – невпопад оскорбился Сурен.

– Тьху! – сплюнул Ованес и ушел домой.

Осел стоял посреди двора, окруженный курами, и шевелил в такт их кудахтанью ушами.

– Это как понимать? – опешил Ованес.

Жена всплеснула руками:

– Ты представляешь, я просто распахнула перед ним калитку.

– И?

– И он отмер.

– Как?

– А вот так! – Она отомкнула калитку и отошла в сторону. Осел двинулся к выходу. Она калитку захлопнула. Осел остановился.

– Ему нужно оставлять проход открытым, – объяснила Сатеник.

Ованес пожевал губами.

– Почему тогда Сурен не рассказал мне этого?

– А ты небось пришел к нему и вежливо спросил, да? – не удержалась от иронии она.

– Много на себя берешь, женщина, – нахмурился Ованес и погладил осла по голове, – ну что, старый трех², дружить будем? Ты не против, если я тебя Марлезом стану называть?

Осел глянул на него своими большими вишневыми глазами и коротко кивнул. С того дня между ними установились уважительные отношения – Ованес заблаговременно распахивал калитку и отходил в сторону, освобождая ему дорогу, а осел верой и правдой ему служил.

Памятуя об этой истории, Ованес не терял надежды, что случай с аллергией на пчелиный яд – глупое недоразумение.

“Раз с ослом договорились, то и с пчелами обойдется”, – бубнил он себе под нос, собираясь на пасеку.

День с самого утра не задался. Отличилась, естественно, Сатеник: не спросивши, она отдала самый любимый топор Ованеса соседу. У Ованеса было пять разных топоров, на все случаи жизни. Относился он к ним бережно, можно сказать – с любовью: точил собственноручно, не доверяя электрическому шлифовальному кругу, удалял ржавчину керосином, хранил в специальном сундуке, чтобы топориче не усыхало в проушине. Особенно берег легкий в работе, неубиваемый колун, оставшийся от деда. Раритетный, можно сказать, экземпляр. Слушайся чего – поди поищи такой.

И теперь, благодаря глупой жене, не удосужившейся спросить разрешения, чужой мужик самозабвенно колот дрова родным дедовым топором.

– Ты хоть поняла, что наделала? – зудел Ованес, периодически косясь на не в меру разошедшегося соседа – щепки от его стараний чуть ли не по всему двору летали.

² Деревенская обувь.

Сатеник сначала пожимала плечами, потом не вытерпела, съязвила:

– Родину, что ли, продала?

Ованес чуть дар речи не потерял.

– Ты не родину продала, – засипел он, – ты конкретно надругалась! Надо мной и над моим инструментом!

И обиженный на жену, поехал на пасеку.

Путь пролегал мимо крохотной парикмахерской, которую на днях открыл внучатый племянник Жорик.

– Заглянем, посмотрим, как он там устроился, – тормознул Марлезона Ованес.

Жорик как раз стриг Гадрутанц Паро. Ованес поздоровался и бесцеремонно уставился на нее. Паро была очень некрасивой женщиной. Даже беспощадно некрасивой – огромная голова на короткой толстой шее, изрытое оспинами лицо, три поперечные волосинки. Жорик эти три волосинки старательно стриг.

– Ах как красиво, – время от времени восклицала Паро, изучая свое отражение в зеркале, – ах как красиво!

– Очень красиво, – соглашался Жорик, – очень!

Когда Паро, расплатившись, ушла, он обернулся к двоюродному деду и развел руками:

– А что я должен был говорить?!

– И то верно, – отмер Ованес.

– Нелегкая у него работа, – удрученно делился он потом с Марлезоном, – стриги и поддакивай, стриги и поддакивай. Бедный мальчик, так ведь самоуважение потерять можно.

Ованес с большой симпатией относился к Жорику. Тот напоминал его в молодости – такой же нескладный, с остро торчащим кадыком и непослушными кудрявыми волосами. Как раз в его возрасте Ованес и жениховался к Сатеник. К первому свиданию съездил в город, купил модные по тем временам брюки, попросил мать их погладить. Брюки были ультрамодные, с могучей амплитудой, называемой в народе солнце-клеш. Мать подивилась их странному крою, но ничего говорить не стала. Нагрела на дровяной печке чугунный утюг и старательно прогладила через влажную марлю.

Ованес в тот день никуда не пошел. Потому что сбитая с толку солнце-клешем мать нагладила по боковому шву брюк такие сокрушительные стрелочки, что влюбленный кавалер выглядел в них сущим скатом. Идти в таком виде он отказался и весь вечер скандалил с матерью. На следующий день оказалось, что зря скандалил. Потому что Сатеник на свидание тоже не пришла. Младший брат из вредности запер ее в погребе, и она проплакала там до поздней ночи, пока ее не выпустили вернувшиеся из гостей родители.

– Такое вот бездарное у меня получилось первое свидание. Глупые были, молодые, счастливые. Вся жизнь впереди, ничего не боишься, ни на кого не оглядываешься, хэх! – тяжело вздыхая, рассказывал Марлезону Ованес. И, вспомнив про колун, тут же рассердился: – Знал бы, что так выйдет, не женился бы на ней!

Какое-то время ехали молча. Потом Ованес опять заговорил:

– А еще знаешь, что я часто вспоминаю? Как меня ребенком дразнили. Аж песню сочинили: “Молодой Ованес под кобылу залез. А кобыла его обосрала всего”. Маленький был, обижался. Взрослым стал – смеялся. А теперь обратно обижаюсь. Видно, в детство впадаю. Что скажешь, Марлезон-джан?

Марлезон молча переступал копытцами по желтой дорожной колее и думал о том, что хозяин сегодня излишне говорлив. Не к добру это, волновался Марлезон.

Догадки его подтвердились на подступах к пасеке. Вместо того чтобы натянуть перчатки на лямках, хозяин закатал рукава рубашки. Распахнул калитку, отошел в сторону, впуская осла на пасеку. Запер тщательно калитку. Какое-то время переминался с ноги на ногу, бормоча под

нос неразборчивое, словно наливался праведным гневом. Потом воздел кулак ввысь, потряс им и выкрикнул:

– Я вашу маму! Не родился еще в Бочканц-семействе человек, которого бы пчела положила на лопатки!

Уверенным шагом он направился к улью и бесцеремонно сорвал крышку. Первая же вылетевшая пчела ужалила его в руку. Вторая – в глаз. Третьей пчелы он дожидаться не стал, побежал к калитке. Споткнулся, рухнул ничком. Потерял сознание.

Марлезон заголосил. Но на соседних пасеках, как назло, никого не было.

Жорик бежал, на ходу развязывая парикмахерский фартук. Следом, прижимая к груди защитные перчатки на лямках, ковыляла Сатеник.

– Сынок, на меня не оборачивайся! – иногда выкрикивала она. Жорик оборачивался, но бега не замедлял:

– Бабушка Сато, вы ждите меня там!

Сатеник сгибалась, упиралась ладонями в колени. Отдышавшись, снова ковыляла за ним.

– Специально небось не взял! – всхлипывала она, теребя в руках перчатки.

Жорик столкнулся с мчавшимся к деревне Марлезоном на полдороге. Завидев его, осел резко затормозил и рванул обратно.

Ованеса, конечно же, спасли.

Пролежал он в больнице два дня. Очнувшись, первым делом спросил про свой колун. Цел или угробили?

– Да цел твой колун! – рассердилась Сатеник. – Ты лучше про Марлезона спроси. Он ведь копытами запертую калитку выбил! И в деревню помчался, чтобы на помощь позвать!

– Против своих принципов пошел, к закрытой калитке подошел! – прослезился Ованес.

Выписавшись, он сразу же вернулся к медовому промыслу. Надежды на то, что аллергия на пчелиный укус – легкопоправимое недоразумение, не терял. И не особо своих пчел остерегался. Смысл остерегаться, если не родился еще в Бочканц-семействе человек, которого можно было бы на лопатки положить!

Дмитрий Воденников Бедная моя царевна



1

В детстве было скучно, когда дождь. Когда гроза – нет, не скучно: я ее любил. А вот когда зарядит на несколько дней, мелкий такой, то пойдет, то перестанет – вот это скучно. Особенно на даче.

Сидишь, томишься, смотришь в окно. Тикают часы, шелестят старые газеты, бьется муха о стекло, смотрят со стен три медведя с картинки. Придет соседская собака Белка, запахнет в комнатах мокрой псиной. (Мне нравится этот запах.) Но сколько с мокрой собакой поиграешь? Да и она не бескорыстна. “Есть сахар?” – “Нет”. – “Досвидос”.

Выйдешь ее провожать во двор, в заросли сирени или в лесок. Чав-чав, чавкают резиновые сапоги. Кап-кап, капает с сирени или с леска на дождевик. Белка убежала, махнула на прощание хвостом. Прощай, неудачник, у меня таких, как ты, на каждом участке, и у них есть сахар! Ужасная тоска.

А сейчас не скучно.

Это меня всегда удивляло – во взрослых. Сидят в дождь, не мывшиеся целую неделю, лото там раскладывают или чай пьют. Попили чай – поспали. Поспали – телевизор посмотрели, обсудили Брежнева. Как их даже печаль не берет?

Пахнет из старого шифоньера духами “Красная Москва” и “Тройным” (хорошо от комаров), бабушкиной пудрой и тленом. Посидишь в бабушкиной комнате, посмотришь полчаса на плачущий сад за окном, опять пойдешь через мекающего Брежнева во двор. Там траншея. Это только в жаркие дни она траншея, а когда наполняется водой – могила. Вот мышка в ней утонула; если очень повезет, то целая белка. Только уже настоящая. Оскалилась мордочкой, сама жалкая, худая, как и ее смерть, мокрая. Быстрая белка, где твоя юркость?

...Но когда наступали хорошие дни, я выходил с сестрой ловить ящериц. Ну, конечно, это не мы ловили. Двое соседних парней (вообще-то им было лет по тринадцать, но они мне казались ужасно взрослыми) добывали нам с сестрой этих быстротекущих зеленых и черных пресмыкающихся тварей. Ящерицы грелись на залитом солнцем фундаменте, и надо было изловчиться и их поймать. За шею или за туловище. Если схватишь за хвост: раз, она его отбросит – и извивается этот ужасный червяк, вызывая судорогу отвращения, а сама жертва с красным обрубок вместо хвоста уже скрылась в широкой трещине.

Не знаю уж, ненавидели ли нас раненые ящерицы с ампутированными хвостами, следили ли ненавидящими черными глазками за смутными гигантами, бегающими по дорожкам и цветнику, смеялись ли над ними целносохраненные товарищи, но ящериц мы ловить любили. Даже строили для них замки из песка. Но прежде всего – оборудовали банку.

Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

Это одно из самых страшных стихотворений русской поэзии. По ламарковским ненаучным ступеням спускается Мандельштам во тьму, встречая попутно тех же ящериц.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Моя самая памятная ящерица тоже прошуршала и исчезла. Но сперва банка. Да, для нее была оборудована банка, я говорил. Высокая, из-под венгерских соленых огурцов. Банка была вымыта душистым мылом и сияла на солнце.

Туда, в эту прозрачную тюрьму, было напихано несколько камней, небольших, переливчатых, серых, чтоб ящериной царевне было привольно там жить (как будто может быть привольно жить в тюрьме). Накидано туда веток. Предполагалось, что мы туда будем впускать пойманных мух и комаров. А чтобы они не вылетели и сама принцесса не ускользнула, отверстие банки закрывалось марлей (для воздуха) и обматывалось резинкой. Живи – не хочу!

(Бедная будущая пленница, не успевшая выпустить хвост. Какая печаль тебя ждала. Скрести прозрачный, вдруг затвердевший воздух, видеть траву, землю, спасительный фундамент. Но не прорвать непонятную скользкую прозрачную стену, не вырваться из заточения. Хоть хвост десять раз отбрось.)

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.

И вот первую ящерицу поймали. Это для сестры. (Мальчикам она нравилась, понятно, что я тут был довеском. Но я-то свои права знал! “Теперь мне, теперь мне!”) Поймали и мне.

Это было чудовище. Огромное даже для своего отряда, жирное нечто, серого цвета (у Юли была блаженно черная, как Анна Ахматова), и вдобавок с хвостом земляного червя во рту. Он-то, червяк, ее, по-видимому, и сгубил. Сидела она на припеке, жрала червяка, не слышала, как крадется соседний мальчик Андрюша, не увидела боковым зрением, что уже занесена рука, – хватъ, и попалась. Прямо с недоеденным обедом.

(Надо было бы проверить: слышат ли вообще ящерицы? И есть ли у них боковое зрение? Но мне сейчас не до этого. Вперед-вперед, печальная история моя! Насекомые с наливными рюмочками глаз уже жужжат в стеклянной темнице, ждут своего дракона.)

И вообще я думаю, это была не “она”, а самец. В общем, принцессой тут и не пахло.

– Поймите мне другую! – прошептал я. Но дети жестоки. Их ждал обед: вкусная вареная картошка на дачной плите с газовым баллоном, присыпанная “своим”, прямо с грядки укропом, масло на бутерброде, салат из редиски, сарделька и на десерт – только что набранная миска клубники (у соседки Анны Ивановны клубника вырастала раньше, она и нас угощала, бледных московских интеллигентов, у которых даже клубника вовремя не покраснеет).

– В другой раз! – сказали злые мальчишки и убежали. А я – остался со своим жирным серым принцем. И червем.

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

Всё это, конечно, очень мило, но подъемный мост был не опущен не только для лирического героя стихотворения Мандельштама, но и для нас с ящерицей. И этот провал был сильнее наших сил, это точно. Это как с любовью. Вот ты ждешь ее, всё не находишь, и вдруг она пришла – и вроде взаимно, а вдруг сидишь напротив и понимаешь: зачем я здесь? почему с этим человеком? где я вообще? Мы смотрели друг на друга с пойманной ящерицей и понимали, что вместе нам не быть.

И выход был найден.

Я немного ослабил резинку на банке и приоткрыл марлю. Ящерица-самец судорожно задвигала отвратительными пальцами по стеклу, но открывшийся потолок был слишком высоко. “Рад бы в рай, да грехи не пускают”.

– Меньше надо было жрать! – сказал я в банку.

Тогда я пошел за камнями. Их было много, мой неродной дедушка, который и обеспечил нам эту незаслуженную генеральскую дачу, водил машину (тоже, кстати, редкость была). Вот машина и стояла у ворот, прямо на завезенном для этой стоянки гравии. Машина была “Волгой”, гравия под ней было много. Я набрал несколько камешков и вернулся к ненавистой банке.

“Вшшшшш”, – сказал первый камешек и скользнул в темницу. Жирная ящерица в ужасе забила к противоположному краю.

– Дура! Это путь к свободе!

Почему я просто не перевернул банку? Не знаю.

Наверное, в моей детской голове была мысль, что так нечестно. Почему честнее было добавлять по одному камню, открыв марлю, – для меня загадка. Но было именно так.

“Вшшшшшш”, “вшшшшшшшш”, “вшшшшшш”. Скоро банка была полна наполовину.

Тяжело переваливаясь на криво растопыренных лапах, самец ящерицы с неизменным куском червяка во рту высунул морду из банки. Но подтянуться он не мог.

В банку были добавлены еще несколько камней.

Тогда невероятным усилием ящерица все-таки извернулась, взгромоздилась на ободок тюрьмы и брякнулась прямо на прогретые доски крыльца. Свобода! Только мы ее и видели. Даже хвост в подарок оставлять не пришлось.

– А где ящерица? – спросили меня пришедшие с обеда соседские мальчишки.

– Она убежала, – с трагическим восторгом ответил я.

...Прошли годы. И теперь я сам отлично знал, что делать на даче в дождь. Куда-то идти? – зачем? Вот чай, вот вино, вот пряник. Правда, теперь на каждой даче душ, и “Красной Москвой” никто не пользуется. И “Тройной одеколон” или одеколон “Гвоздика” вполне себе заменили специальные пластины. Вставил их в устройство, всунул его в розетку, все комары ушли в осень, пригласили, так сказать, сами себя на закат.

И черт меня дернул однажды купить таксу. Вообще-то я хотел купить йоркширского терьера. А что, милое дело! Был бы как светская львица (лев). Но йорки стоили дорого, а у меня среди прочих телефонов собакопродавцов затесался и этот. “Милая веселая таксочка ищет хозяина!”

Я не хотел таксу. У моих друзей в Питере жил совершенно сумасшедший кобель, который не слушался даже хозяев. Гостей, как вы понимаете, он вообще не жаловал.

Когда я приезжал в Питер и селился у друзей, слушая шизофренический лай Гуни (а именно так звали пса) и крики “фу, нельзя, отдай!” его хозяев, я понимал, что если заведу себе собаку, то это будет кто угодно, только не такса.

В общем, веселая таксочка была обречена.

Так уж случилось, что мне надо было в этот день поехать на радио. Радио находилось на Ямском Поле, я живу совсем в другом конце Москвы, и вот всё время, пока я ехал и шел, я звонил по двенадцати телефонам с йоркширскими терьерами. Но то там цена была заоблачная, то надо было ехать смотреть щенят за город, то еще какая-нибудь другая напасть. А я уже приезжаю на свою станцию и иду по ярко освещенной родной улице, упдающей в закат. И остался только один телефон. Тот, выписанный непонятно зачем.

И я позвонил.

Так всегда бывает с твоей настоящей судьбой. Тебе ее не миновать. Ты можешь не пойти на ту вечеринку, где богом встречи было заготовлено пересечение с человеком, который войдет в твою жизнь, – значит, тебе подсунут вторую вечеринку, куда ты тоже не собирался, но зачем-то пришел.

Ты можешь всю жизнь бегать от рака и питаться правильно, и вести здоровый образ жизни, и не пить, и не курить, но в определенный срок ты обязательно заболеешь. (Или нет. Хоть обкуришь и проваляйся всю жизнь на диване.)

От судьбы не уйдешь. Вот и я не укатился от нее, как обреченный на лису колобок.

– Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и я не собираюсь покупать у вас таксу! – так начал я разговор, и теперь мне странно, что на том конце несуществующего провода не положили трубку.

– И не надо, – был мне ответ. Так судьба всегда разговаривает, когда она Судьба.

Сияло солнце, мир был полон надежд, но не для меня: – Мы просто вам ее покажем, – опять сказал телефон. “Ты ее уже купил”, – догадалась моя тогдашняя подруга по телефону, и хотя я сказал “мне просто везут ее показать”, как сомнамбула я сходил по вечеряющей земле в ветеринарный магазин и купил плошку. Зачем плошку? К чему? Снова загадка.

...Продавцы опоздали. Сперва сказали, что привезут в семь, потом перезвонили, что в восемь, привезли в десять. Я спустился в загустевшее уже лето, в темноту, в фонари, подошел к машине, держа в кармане 11 тысяч. Собачка стояла дорого.

– Извините, мы опоздали.

– Ничего, показывайте собаку.

Из какой-то корзины (кажется, из открывающейся задней части машины, а может, и с последнего сиденья, я не помню) хозяйка достала черную колбасу и показала мне. Я машинально погладил плоскую, как у змеи, голову. И черная колбаса потянулась ко мне.

– Ой, смотрите! Она вас выбрала!

Я знал, что она лжет. Кусок летней темноты (немного, правда, темнее самой темной ночной тени этого умершего уже дня) потянулся ко мне, потому что просто устал. Ехать полдня, копошиться в закрывающейся корзине, пиццать. Но я взял этого щенка на руки. С каким-то сомнамбулическим отвращением протянул деньги, попросил пересчитать и ушел.

Когда я вошел в квартиру и поставил щенка на пол, он сразу же написал на паркет.

Начались наши адовые будни.

Я назвал потом таксу, которую поклялся никогда не покупать, Чуней.

Всего лишь одна буква.

Буква разницы.

2

Но сперва имени у нее не было.

“Вы должны помнить одно: собака не должна ни при каких обстоятельствах спать с вами. У нее есть место. Пусть там и спит. Когда вы уходите, щенка лучше всего запирайте в клетку. Или, если вы хотите, чтоб у него было больше свободы, в вольер”.

Я не спал всю ночь. В прямом смысле этого слова. Не то что засыпал и просыпался. Я, как оловянный солдатик (только лежачий), не заснул ни на минуту. Нет, безымянная собака в кухне не визжала: я ее убаюкал, огородив тяжелыми коробками, организовав что-то типа манежа. Который она не перескочит, не сможет: она же маленькая. И очень гордился, что такой умный. Даже уже стал писать в уме первые страницы книги “Вы все дураки, а я великий кинолог”, прислушиваясь к могильной тишине через две двери.

Она спала без звука, и вдруг я поймал себя на мысли, что не сплю, потому что считаю: вот еще один час Кузя (или Машка, я еще не знал, что через два дня окончательно остановлюсь на глупом имени Чуня, которое похоже на валенок) благополучно проспала. А вот еще один. Вот у всех в первую ночь собаки кричат, стонут, плачут, и их, сломавшись на втором часу ора, берут в кровать или кладут рядом. На пол. Но у меня не забалуешь. Лежит за стеной и сопит в две дырки. (Наверное.)

Завтра будет ад, но хоть она выспится, – с неприсущим мне не-эгоцентризмом думал я.

Да, я знал, понимал, что часов в пять она меня разбудит утробным – похожим на кошачий вой – плачем. Но сердце у меня замирало от нежности. “Вот и третий час проспала”, – продолжал считать я.

Когда она завопила в пять с чем-то, я злорадно подумал: “А я как будто сплю. Всё равно не выберешься, я же завалил вход коробкой”.

Но всё же встал.

Открыл дверь.

Собака *выла на пороге.*

Как она перескочила заграждения, я не знаю. На полу желтела лужа. Пеленки, специально переданные мне бывшими хозяевами собачки для этого дела, были девственны.

После чего Кузя ходила за мной по пятам целый час, отказываясь какать и писать, несмотря на все мои мольбы.

И через час я вышел в магазин.

Стояло дивное прохладное летнее утро. Ровно шесть. Было свежо.

А я вдруг стал весь мокрый от пота, потому что при повороте на Егерскую вдруг подумал, что неплотно притворил дверь в комнату, куда Машку не пускаю, а в комнате открыт балкон.

Серьезной рысью я смотался до банкомата и снял все деньги.

Обратно я бежал.

...Теперь бы мне только дождаться десяти, и я куплю настоящий загончик и всё, что нужно. А нужно – многое.

К десяти привезли два манежа – тяжелые, сложные конструкции, типа решетки с четырьмя прямоугольными фракталами вверх. Только кошка на них заберется. Черепашка и собачка нет. Я огородил ими в кухне кухонный стол, придвинутый к стенке: у собаки получился дворец с крышей (там, в коробках, было постелено несколько одеял и даже положена подушка; забегая вперед – эту подушку собака описала в первую очередь) и с оградой. Дворец с решетчатым забором. Живи – не хочу. Кузя не хотела.

Я раньше думал, что ж это такое: “то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя”. Какая такая выюга? Теперь я знаю, какая.

Чуня ухает, как гиена, кричит, как подкидыш, или рыдает, как Фаина Раневская (когда я ухожу), настолько громко, это слышно даже на первом этаже. И так радуется, когда возвращаюсь, что мне приходится ходить, как стреноженный китаец (боюсь наступить, а она всё мечется, она же маленькая). В общем, теперь я был какое-то бессмысленное, но суровое приложение к этой невротичке. Насколько – что когда во второй день я встречался с замечательной женщиной, продюсером, которая предложила мне два феерических поэтических проекта (ее идеи были совершенно невероятны и при этом в самое яблочко), – я так, видимо, бездарно принимал участие в разговоре, что она спросила меня: “Ты думаешь о собаке?”

– Нет, – слишком быстро ответил я.

Но ограда сторожила собаку крепко. Это я знал точно. И когда я бежал после встречи домой, я знал, что Чуня будет ждать меня на кухне, стоя в полный рост и вцепившись своими маленькими миленькими лапками в решетку.

Я ошибся.

Чуня встретила меня у входной двери. Извиваясь от радости. Но как?

И еще была одна загадка: Чуня не пахла.

Я очень люблю запах псины. И та дачная Белка, и другие собаки, которые жили после Белки у нас, – все они пахли сильно и остро. Чуня же была девственно щенячьей. И дело не в ее возрасте: она выросла и пахнет щенком до сих пор. Объяснение этому удивительному факту заключается в том, что у гладкошерстных такс нет подшерстка (кстати, у йорков его тоже нет), поэтому они до старости пахнут собачьим детством.

Но даже ее ангелоподобная природа не объясняла преодоления барьера, который был выше ее в два раза, даже когда она становилась на задние лапы. Ну не летает же она?

Поэтому я решил проверить.

В ванной комнате у меня есть внутреннее окно. Я даже читал когда-то, зачем в старых домах делали это застекленное большое окно между ванной и кухней. (Сейчас, впрочем, забыл зачем.) Вот оно и пригодились.

Я посадил Чуню в вольер, сам вышел из кухни, вошел в ванную и, встав на край ванны, прильнул к стеклу.

– Чуня! – позвал я ее. – Иди сюда.

И тут я увидел всё. Чуня забегала по периметру, стараясь найти выход, чтоб устремиться на зов. Но выхода не было. Она стала прыгать на ограду, но ограда была слишком высока.

– Чуня! Иди сюда! Мне нужна помощь! – я продолжал свое требовательное пение.

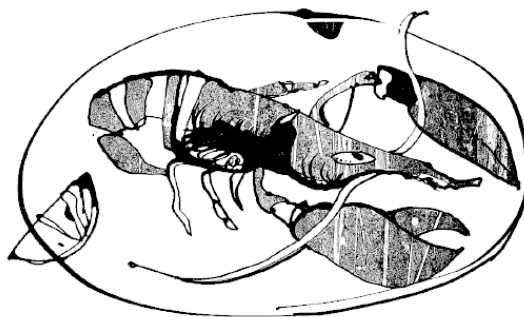
И тогда Чуня, уцепившись передними лапами, стала карабкаться вверх. Как она это смогла сделать, мне до сих пор непонятно. Но я видел это собственными глазами: она уцепилась передними лапами за верхние твердые струны, поставила одну заднюю лапу на поперечное деление, потом вторую, еще раз переставила лапы, подтянулась и оказалась на самом верху. Спуститься оттуда таким же способом она, естественно, не могла. Поэтому она просто брякнулась. С высоты полуметра. Как мешочек с дерьмом.

У меня потемнело в глазах.

Через секунду Чуня уже прыгала на ванну.

Здравствуй, ящерица. Наконец-то я снова встретил тебя.

Татьяна Толстая Себастьян



Манолис установил на террасе, перед таверной, аквариум на четырех металлических ногах. До моря – каких-нибудь семь метров, так что посреди террасы растет тамариск – дерево, любящее соленую морскую воду. Аквариум стоит в чудесной резной тени тамариска, вода в аквариуме проточная, тоже морская. Мы как раз обсуждали, что это за шланг такой идет вниз, по камням, мимо придурочной чайки, которая ходит взад-вперед и никуда никогда не улетает, моряку суля тоску, – и скрывается в море. А это от аквариума шланг.

В аквариуме сидят лобстеры.

Может быть, они называются омары, или лангусты, или еще как-то, но Манолис сказал, что это лобстеры. Они коренастые, темно-бурые и пошевеливают множественными тонкими ножками, длинными усами, а толстенькие широкие хвосты у них всегда поджаты.

– Хотите лобстера? – спросил Манолис и захохотал, как он обычно хохочет – как лошадь. Мы любим Манолиса, а он, кажется, любит нас. Мы обычно едим у него и мало изменяем ему с другими рестораторами. Отчего же нас не любить?

Манолис всегда приветлив и хорошо улыбается. Всегда хохочет как лошадь. – И-и-и-го-го! – заржет и отойдет.

Но это такое дежурное, формальное ржание. Нельзя сказать, что ему весело. Только раз я видела Манолиса по-настоящему счастливым. Это было пару лет назад. Я думала, что у него сын родился, или что-то оглушительно прекрасное с ним случилось. Женился, может быть. Вчера еще не женился – а сегодня, гляди, сияет и вибрирует – весь, всем лицом и организмом. Лицо прямо-таки мелко дрожит, не в силах сдержать счастья. Глаза золотые от восторга!

– Что, Манолис?..

Он схватил меня за руки и сжал их в своих – от полноты чувств.

– Автобус, автобус!.. – Оказалось, что весь автобус, все латышские туристы, все 17 человек заказали у него рыбный суп. Еще полдень не пробил, а дневная выручка была выручена.

– Лобстера хотите заказать? – заржал Манолис.

– Ну, как-нибудь... не сейчас...

Во-первых, дорого. Во-вторых, ну, как-то я не люблю есть того, с кем я знакома. А я с ним знакома, можно сказать: я прихожу на террасу, барабаню ногтями по стеклу, и лобстеры пугаются. Шевелят своими множественными ножками. Их, наверно, как-то зовут, лобстеров. Например, Себастьян, Хоакин и Эрменегильдо. Почему нет-то? Вот в булочной, в клетке, сидит попугай, постоянно изображающий прибытие мотоцикла, визг автомобильных тормозов, хлопанье дверцами и женский недовольный голос с попреками, – у него же имя есть? И не буду же я есть попугая?

А сегодня мы обедали, и за соседним столиком тоже обедали, и вдруг я смотрю – официант принес кого-то на блюде и показывает: этого?..

А немцы (тут всё немцы) говорят: да, хорошо, этого. А это был Себастьян.

Нет, нет, я не ханжа, и не вегетарианка, и вообще я ела рыбный суп, а мой спутник ел бараний кебаб, да и вообще, что тут говорить, не возражать же. Но я зачем-то посмотрела глазами вбок, и он сидел на блюде, шевеля этими своими множественными ножками, темно-бурый, поджавший широкий хвост, и я зачем-то, почему-то почувствовала его ужас, его понимание того, что это – всё, это конец.

Это с ним первый раз так. И последний. На блюде, под качающейся тенью тамариска, в семи метрах от моря, в пляшущей тени. Это наш Себастьян. Что вы делаете-то? Это наш Себастьян!

А официант унес его на кухню, довольный. Хороший, дорогой заказ. Я вот тоже ела рыбный суп, а точнее, буйябес, и я совершенно не ханжа! – и в супе были кальмар и ракушки – ну это ладно, мелочь безымянная, – и целая большая креветка, размером с рака, которая тянула на Маришу или Иришу, или на целую даже Светлану Леонидовну, а я ее ела. Мертвая лежала Светлана Леонидовна, с белыми вареными глазами, и всем ее планам на дальнейшее пришел окончательный конец.

И на минуту мне открылось то, что совсем не должно открываться никогда и никому: вся эта их боль, и крики, и ужас перед кипятком и ножами, и томатными соусами, и розмарином из крошащих пальцев, или что там в эти супы кладут?

Принесли Себастьяна, уже красного и неподвижного. Длинное такое, овальное металлическое блюдо, на нем Себастьян, потом зачем-то спагетти в томате, потом лимон и еще какая-то нарядность.

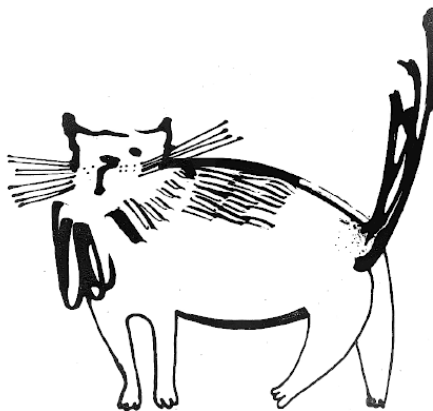
Немцы поковыряли его, но он как-то не пошел. Макароны лучше пошли. Они делили между собой макароны, поднимали их на вилке, будто взвешивая, солнце просвечивало сквозь них. Красивое вечернее солнце.

А Себастьяна они оставили на блюде, разворошенного. Ножки его торчали, вытянутые вперед, будто бы он о чем-то просил.

– Лобстер – нет? – спросил Манолис и немножко заржал. И его унесли, лобстера этого. И подали кофе.

Александр Генис

Путь кота



1

Любовь, помнится мне, – вид болезни. Липкий туман в голове и головастая бабочка в желудке. Злость, недоверие, ревность и бескрайний эгоизм: твое счастье в чужих, да еще и малознакомых руках. Другой человек – источник страдания не в меньшей степени, чем наслаждения, потому что, влюбляясь, мы больше всего боимся потерять того, кого еще не обрели, страшимся показать себя с плохой, как и любой другой, стороны.

Однако кроме обычной любви есть еще и нечеловеческая. Могучая и безусловная, она не торгуется, ничего не требует и всё прощает.

– Так, – говорят мне одни, – Бог любит человека.

– Так, – говорят мне другие, – человек любит Бога.

– Так, – отвечу им, не таясь, – я любил своих котов.

Конечно, “своими” я мог их назвать лишь потому, что у котов обычно нет фамилии и они пользовались моей во время визита к ветеринару.

Поскольку кот, как доказала наука, существо непостижимое, постольку я не мог настаивать на обоюдности наших чувств. Мне достаточно того, что они не против. В сущности, коты служили мохнатыми аккумуляторами любви столь бескорыстной, что ее и сравнить-то не с чем. Остальных – от детей до родины – мы любим либо за что-то, либо вопреки. Но с котов взять нечего, поэтому я любил их просто потому, что они есть.

Тем более что мои мышей не ловили. Да и зачем мне мыши? Мне нужна чистая – не разбавленная страстью, выгодой и самолюбием – любовь. Чтобы пережить ее, нам, как Богу, надо сделать шаг назад, вернуться на землю и склониться перед тварью размером с нашу любовь. С этой – божественной – точки зрения у котов – идеальные габариты. У них есть свобода воли, но они ею злоупотребляют. У котов хватает ума, чтобы с нами не говорить. Они знают, чего хотят, и уж точно нам не завидуют.

– Только межвидовая любовь, – решусь заключить, – бывает счастливой без взаимности.

2

Первый кот в моей жизни явился на свет чуть ли не со мной – я его помню столько же, сколько себя. Честно говоря, он был лучше. Громадный, жгуче черный, но с белым галстуком,

он походил на Бегемота, но я еще не дорос до букваря, а советская власть – до Булгакова. Свое имя он получил по имперской неграмотности. Мы думали, что Минька – это кот по-латышски, на самом деле – это значит “кис-кис”. Ему было всё равно. Он снисходил до общения с нами, как и положено богу. Меня, самого маленького, он выделял из всей семьи и гонял по бесконечному коридору коммунальной квартиры. Я опасливо обожал своего мучителя, как некоторые любили строгую советскую власть или капризную балтийскую погоду.

За размеренным ходом совместной жизни Минька наблюдал, довольно прищуриваясь, что свойственно всем котам в мертвый сезон. Но весной он забывал, как нас звали, и начинал томиться – как, собственно, и все мы. Только он был куда более настойчивым и красноречивым. Наказывая нас за непонятливость, Минька мочился куда придется, включая тапочки отца и портфель старшего брата, который и без того плохо учился. Меня, как бесправного, он не преследовал, но остальным доставалось до тех пор, пока мы не примирялись с природой и не отвозили его на еще пустую, холодную дачу в Дзинтари. Добившись своего, Минька исчезал, не прощаясь. Вновь домашним, отощавшим и счастливым он возвращался к нам летом и прыгал на колени к отцу, делавшему вид, что читает “Братьев Карамазовых”. На заборе, в кустах жасмина, еще сидели уличные кошки. Но Минька, отдав должное инстинктам, до следующей весны предпочитал цивилизованный образ жизни. Регулярно чередуя загулы с ленью, он, как греки, учил меня чувству меры. Но я был глух к голосу разума, на что жаловались в школе.

– Мяукал даже на уроке, – писали учителя в моем дневнике.

3

Смерть Миньки была первой утратой в моей жизни, и я тосковал по нему уже в Америке, пока у нас не появился сибирский Геродот. Я знал его родителей. Отец, Тимофей, был размером с овцу, мяукал басом и заслонял собою дверной проем, пуская в дом тех, кто его гладил. Мать – Ромашка – даже среди кошачьих отличалась хрупкой красотой.

К встрече с ним я готовился всерьез и долго, ибо она пришлась на буддийский этап в моей эволюционной кривой. Побывав в Японии, я выяснил (из голливудских фильмов), что воспитывая человека-ниндзя, ребенку дарят котенка.

– Подражая ему, – гласит молва, – дитя перенимает кошачью грацию, вкрадчивость и безжалостность.

Я не собирался учиться на невидимку, мне понравился сам проект. Дело в том, что каждый кот – буддист. Человек, в сущности, тоже, но кошкам и стараться не надо. Поэтому способный к сосредоточенному созерцанию, не нуждающийся в одобрении, глухой к порицанию, самодостаточный и всем довольный комок шерсти стал моим наставником, идеалом, любимым литературным персонажем, а главное – инструментом теологического познания. Убедившись, что мне не удастся найти Бога, я ставил опыты на животных, точнее – на одном, отдельно взятом сибирском котенке с пышным историческим именем Геродот.

– Прелесть кота, – вывел я, – не в том, что он красивый или, тем более, полезный. Прелесть его в том, что он – другой.

Это предельно важно, ибо только в диалоге с другим мы можем найти себя, выйдя за собственные – человеческие – пределы. Обычно человек помещает другого выше себя. Другим может быть гегелевский Абсолют, или библейский Бог, или Великая природа, или Пришелец, или – даже – неумолимый закон исторической необходимости. Геродот преподавал урок теологии, вектор которой направлен не вверх, а вниз.

В определенном смысле общаться с котом – всё равно что с Богом. Нельзя сказать, что Он молчит, но и разговором это не назовешь: то десятку найдешь, то на поезд опоздаешь. Сравнение это тем более кошунственное, что в отношениях кота с хозяином ясно, Чью роль играет последний.

Конечно, у каждого из нас был свой голос, который становился бесполезным лишь при нашем общении. Но именно взаимонепонимание и делало его таким увлекательным. Не только кот для меня, но и я для него – тайна. С немотой, однако, он справляется лучше нас. Если мы в молчании вышестоящего видим вызов, упрек или безразличие, то лишенный общего с людьми языка Геродот научился обходиться без него. Полностью доверяя среде своего обитания, Геродот не задавал ей вопросы. Я для него был силой, дающей тепло, еду, ласку. Подозреваю, что он, словно атеист или язычник, не отделял людей от явлений природы. Как солнце, как ветер, как свет и тьма, для него мы были постижимы лишь в том, что имело к нему отношение.

Геродот не отрицал существование того, что выходило за пределы его понимания. Нельзя сказать, что он игнорировал всё непонятное в его жизни – напротив, кот охотно пользовался им, хотя и не по назначению. Геродоту не задумывался над целью и смыслом огромного количества вещей, которые его окружали, его не касаясь. При этом, будучи чрезвычайно любопытным, Геродот всякую закрытую дверь воспринимал с обидой, но по-настоящему его интересовали лишь перемены. Кота, как Конфуция, занимало не дурное разнообразие “десяти тысяч вещей”, а их концы и начала: не было и вдруг стало. Его волновал сам акт явления нового – ветра, гостя, посылки.

Геродота было очень трудно удивить. Испугать легко, но вот поразить кошачью фантазию мне так и не удалось. В жизни Геродота было так много непонятного, что в ней не осталось места для фантастического – ежедневная порция незнакомого казалась частью обыденного.

4

Между тем Геродот вырос из котятства, и я счел, что он готов к своей роли экспериментального животного. Если коварный Минька открыл мне зло, то на Геродоте я хотел опробовать добро, как известно Кто. Я пошел на это, хотя коты вовсе не созданы по нашему образу и подобию. У них, например, совсем нет талии. Еще удивительнее, что они никогда не смеются, хотя умеют плакать от счастья, добравшись до сливочного масла. И всё же ничто человеческое котам не чуждо. Так, раздобыв птичье перо, Герка мог часами валяться с ним на диване, как Пушкин. Но я прощал ему праздность и никогда не наказывал. Только иногда демонстрировал меховую шапку, а если не помогало, то зловеще цедил: “Потом будет суп с котом”.

Чаще, однако, я мирно учил его всему, что знал. Стараясь, чтобы Геродот жил как у бога за пазухой, я с самого начала объяснил ему суть эксперимента.

– Звери не страдают. Они испытывают боль, но это физическое испытание, страдание же духовно. Оно и делает нас людьми. Значит, задача в том, чтобы избавиться от преимущества. Мудрых отличает то, чего они не делают. Лишив себя ограничений, мы сохнем, как медуза на пляже.

Услышав о съестном, Герка открыл глаза, но я не дал себя перебить.

– Запомни, – твердил я, – мир без зла может создать только Бог, или человек – для тех, кому он Его заменяет.

Дорога в рай для Геродота началась с кастрации – чтобы не повторять предыдущих ошибок. Спасая кота от грехопадения, я предоставил ему свободу. В доме для него не было запретов. Он бродил где вздумается, включая обеденный стол и страшную стиральную машину, манившую его, как нас Хичкок. Считая свой трехэтажный мир единственным, он видел в законном пейзаже иллюзию, вроде тех, что показывают по телевизору.

Но вскоре случайность открыла ему, что истинное назначение человека – быть ему тюремщиком. Однажды Герка подошел к дверям, чтобы поздороваться с почтальоном, и ненароком попал за порог. Он думал, что за дверью – мираж, оказалось – воля.

Геродот знал, что с ней делать, не лучше нас, но самое существование ее было вызовом. Он бросился к соседскому крыльцу и стал кататься по доскам, метя захваченную территорию.

– Толстой, – увещевал я его, – говорил, что человеку нужно три аршина земли, а коту и того меньше.

Но оглядывая открывшийся с крыльца мир, Герка и сам понимал, что ему ни за что не удастся обвалить его весь. Он напомнил мне одного товарища, который приехал погостить в деревню только для того, чтобы обнаружить во дворе многоведерную бочку яблочного вина. Трижды опустив в нее литровый черпак, он заплакал, поняв, что с бочкой ему не справиться.

Герка поступил похоже: он поджал хвост и стал задумываться, тем более что, боясь машин, я не выпускал его на улицу. Это помогло ему обнаружить, что сила не на его стороне. Прежде он, как принц Гаутама в отцовском дворце, видел лишь парадную сторону жизни: я всегда был послушен его воле. Но теперь Герка стал присматриваться ко мне с подозрением.

Я догадался об этом, когда он наложил кучу посреди кровати. Этим он хотел озадачить всех так же, как я – его. Куча не помогла, и Герка занемог от недоумения. Эволюция не довела котов до драмы абсурда, и он не мог примириться с пропажей логики. Вселенная оказалась неизмеримо больше, чем он думал. Более того, мир вовсе не был предназначен для него. Кошачья роль в мироздании исчерпывалась любовью, изливавшейся на его рыжую голову.

Пытаясь найти себе предназначенье, Геродот принес с балкона задушенного воробья. Но никто не знал, что с ним делать. Воробья похоронили, не съевши.

От отчаяния Герка потерял аппетит и перестал мочиться. Исходив пути добра, он переступил порог зла, когда пришлось увезти его в больницу.

Медицина держится на честном слове: нам обещают, что, терпя одни мучения, мы избежим других. Ветеринару сложнее. Для кота он не лучше Снежневского: изолятор, уколы, принудительное питание. Неудивительно, что когда через три дня приехал за Геродотом, он смотрел не узнавая. В больнице он выяснил, что добро бесцельно, а зло необъяснимо.

Мне ему сказать было нечего. Я ведь сам избавил его от грехов, которыми можно было бы объяснить страдания. Теодицея не вытанцовывалась. Я обеспечил ему обильное и беззаботное существование, оградил от дурных соблазнов и опасных помыслов, дал любовь и заботу. Я сделал его жизнь лучше своей, ничего не требуя взамен. Как же мы оказались по разные стороны решетки?

Этого не знал ни я, ни он, но у Геродота не было выхода. Вернее, был: по-карамазовски вернуть билет, сделав адом неудавшийся рай. Он поступил умнее: лизнул мне руку и прыгнул в корзину. Ничего не простив, он всё понял, как одна бессловесная тварь понимает другую.

5

Много лет Геродот верно служил мне пособием по практической метафизике. Я каждый день у него учился, не уставая поражаться буквально нечеловеческой мудрости. Геродот ничем не владел и всем пользовался. Познавая мир, он употреблял его с тем аристократическим эгоизмом и произволом, который доступен мушкетерам Дюма и алкашам Венички Ерофеева. Принимая вызов гречневой крупы или рождественской елки, Геродот, словно Дон Кихот, не сдавался, не одолев противника.

Я упорно изучал на нем пределы своей реальности и возможности выхода за ее границы. Принимая свою роль, он вел себя непредсказуемо, как случай, и относился ко мне как к ущербному богу. Я кормил, но диетическим, не закрывал двери, но не выпускал во двор, чесал за ухом, но таскал к ветеринару, понимал его, но с грехом пополам. От нашего общения я, написав о нем десятки страниц, получал больше него, но он не жаловался, беря гонорар сметаной.

Семнадцать лет Герка терпел, а потом умер, чего я ему до сих пор не простил.

Траур, как и велел Конфуций, продолжался три года, а потом, страдая от дефицита межвидовых отношений, я вновь вступил в них. Ведь без кота жизнь не та. Сравнивая нас с ними,

невольно приходишь к выводу, что люди слишком одинаковые, а от кошачьих нас отделяет пропасть.

Новые коты разительно отличались от Геродота прежде всего тем, что их было два. Они получили имена, составляющие философскую пару и исчерпывающие вселенную: Инь и Ян.

Правда, тут не обошлось без культурологического насилия. Неотразимые абиссинцы не имели ничего общего с Китаем. Они походили на египетских кумиров, потому что служили им прототипами. Самая древняя порода кошачьих сохранила их облик без перемен со времен первых династий. Но юные кошки пришли к нам без исторического багажа и отличались легкомыслием.

Особенно – Ян. Он живо напоминает любимого актера моей молодости Савелия Крамарова, каким он был до того, как переехал в Америку и вылечил косоглазие. Отличаясь безмерным любопытством, Ян постоянно бродит по дому с тем простодушным выражением, которое в переводе на человеческий означает “А чего это вы тут делаете?”. Инь походит на Аэлиту. Худая и элегантная, она томно открывает огромные янтарные глаза и глядит ими прямо в душу. Янка нежно пищит, притворяясь птенцом, Инька берет низкие ноты с хрипотцой, как Элла Фицджеральд.

Впрочем, кошки разговаривают исключительно с нами, людьми, а между собой общаются телепатически. Где бы ни оказывался Ян, рядом с ним с вежливым секундным опозданием появляется Инь. Связанные невидимыми нитями родства, они, изображая кавычки, в рифму сидят на подоконнике, на диван укладываются, как ян и инь в корейском флаге, и вместе обедают в любое время суток.

Иногда без всяких (на мой взгляд) причин кошки учиняют жуткую драку. Сцепившись на ковре, они катаются словно поссорившийся сам с собой двухголовый дракон. Схватка проходит в абсолютной тишине, что делает ее еще более непонятной. Тем более что, вдруг начавшись, драка кончается не победой или поражением, а взаимным вылизыванием ушей. Не в силах разобраться в природе этих конфликтов, я не вмешиваюсь, а наблюдаю, ибо на этот раз решил с помощью котов изучить весь спектр общественных наук, начиная с политических.

Ян вел себя нахраписто. Инь была умнее, не лезла на рожон, но первой начинала схватку, вцепляясь брату в горло, если не успевала – в хвост. Но больше всего меня интересовало их отношение к нам, людям. Они полюбили играть с нами, например, в футбол – два на два без вратаря. В мороз им нравится спать под мышкой, ночью – будить приступами нежности или щекоткой. Подозреваю, однако, что, быстро сориентировавшись на местности, коты принялись плести заговор, умело дозируя ласку и разлучая меня с женой. Стоило им нагадить – разбить чашку, напиться из унитаза или оборвать лепестки – как они стремительно неслись в поисках защиты к тому, кто не заметил проделки. При этом наша раса в целом не вызывает у них большого энтузиазма. По телевизору они соглашаются с нами смотреть только мультфильмы про зверей, на худой конец – “Маугли”.

Неудивительно, что Ян и Инь раскусили нас раньше, чем мы их. Один кот непостижим, но с ним мы хотя бы общаемся тет-а-тет, как с Богом. Два кота меняют социальную динамику и на порядок усложняют взаимопонимание. Взяв Иньку на руки, надо всегда иметь в уме Яна, который вскакивает на плечи и кусает в лысину. Я еще не понимаю, что он хочет этим сказать, но собираюсь узнать, посвятив дешифровке чужой ментальности остаток жизни.

В конце концов, у нас нет задачи более важной, чем понять себя с кошачьей помощью.

– Собаки ничуть не хуже, – скажут мне, и я не стану спорить.

Они, скажем, незаменимы для сюжета уже потому, что верно ему служат и охотно подсказывают. Долго проживет герой вестерна, пихнувший собаку? Выйдет ли замуж героиня за жениха, согнавшего пса с кресла? Станем ли мы сочувствовать зайцу, если за ним гонится роскошная борзая?

Но кошки не годятся для сюжета вовсе. Во-первых, они не пойдут с вами на охоту – нужны мы им, как же. Во-вторых, коты не делают того, чего от них ждут. Они вообще редко что-нибудь делают и никогда для нас. Мы любим их лишь потому, что они есть, да еще у нас.

– Собака, – скажу я, подводя итог, – друг человека, кот – его альтернатива.

Яна Вагнер Блаженны нищие духом



Вообще-то боксеры – красивые собаки. Лоснящиеся красавцы, мускулистые медалисты. Классического боксеровода я вижу так: гордец с задранном носом. Когда-то я и сама была гордецом, но потом мы зачем-то решили больше не покупать щенков, а вместо этого брать домой взрослых из приюта, и с тех пор позоримся даже в ветклиниках.

Представьте очередь на прививку, в коридоре небольшая толпа. Какой-нибудь шелковый пекинес, две белозубые овчарки и золотистый ретривер, расчесанный на пробор. И мы. Атрибуты сиротской жизни не спрячешь – торчащие ребра, негнувшиеся лапы, слезящиеся глаза. Вся очередь сторонится нас, во взглядах чудится “господи, довели собачку”. Рассматривая наших питомцев, дети иногда плачут, и бессмысленно объясняют, что через полгода любви и домашней еды всякий сирота непременно превратится в наглого обжору с блестящей шерстью, и надо просто подождать. Мы и не объясняем. Молча сидим в коридоре ветеринарки с красными горячими ушами, пристально изучаем телефон. Какой-нибудь мальчик громко спросит у бабушки: а почему эта собачка так странно сидит? Бабушка обнимет холеного красавца-бультерьера (или огромного вислоухого дога, или просто положит руку на кошачью переноску) и укоризненно вздохнет. Температура упадет еще на пять градусов. Шансы встретить ту же самую бабушку спустя полгода, предъявить ей бывшего сироту и оправдаться – ничтожны.

Тем более что теперь у нас есть Веня. Увидев Веню, все бабушки мира проклянут нас и через год, и через пять лет, потому что над его сиротской харизмой время не властно вообще.

Он приехал к нам четыре года назад, в феврале. Странный белый пес с обмороженными ушами, который не улыбался, не смотрел в глаза и не вилял хвостом, а вместо этого долго бегал кругами по нашей гостиной, задирая передние ноги высоко, как кремлевский курсант, и по-птичьи тряс головой, а потом уперся лбом в стену и замер, и не хотел оборачиваться. Он испугался нас, а мы – его, мы таких не видели никогда, но деваться было некуда: за бортом минус 20, в приюте неотапливаемые вольеры, а больше никто его не хотел.

Назавтра выяснилось, что он не умеет лаять, через раз падает с лестницы и при попытке обойти стул обязательно сносит его плечом. Что садится он трудно, враскачку, не может лежать на боку и даже пьет медленно и странно, как будто чужим языком.

В первый же день он сунул лицо в камин и спалил себе все усы и брови. Влез в душевую кабину и не нашел выхода, потому что не смог развернуться. Попытался сесть и упал на спину, как черепаха. Застрял головой в перилах веранды, пришлось бежать и вынимать.

Леденя, мы ходили за ним по пятам и думали – инсульт? Травма позвоночника? Или, может, он просто слеп на один глаз? Глядя, как он мчится к нам иноходью на прямых ногах, похожий на собаку-Франкенштейна, сильнее всего хотелось осенить его крестным знаменем и быстро закрыться в другой комнате, но делать это было неловко. И потом, надо же было разобраться.

Две недели мы возили его по разным врачам, делали рентгены и УЗИ, показывали хирургу и офтальмологу, а в остальное время поднимали его, отряхивали, выпутывали из перил и чистили ему лицо (у белых собак очень маркие лица). Однажды он пришел к нам со стулом на спине, потому что шел сквозь стул и застрял. По утрам он стоял возле нашей кровати и мычал, не открывая рта, протяжно и глубоко, как печальная корова. И еще у него появилось имя – Веня. Когда две недели подряд смотришь на кого-то не отрываясь, без имени не обойтись.

Мы заметили, что он не любит оставаться один и ходит, везде терпеливо ходит за нами следом, как варан. Толкает незакрытую дверь в ванную, караулит под лестницей. Обернешься – а там вечно тревожное белое Венино лицо. Заметили, что, как и все диккенсовские сироты, он голоден постоянно и к миске мчится так, словно это святой Грааль, но если протянуть ему на ладони кусок сыра, возникает пауза секунд в десять, и в наступившей тишине слышен лязг и скрежет, с которым проворачиваются шестеренки в Вениной голове; правую переднюю ногу вперед, трудно думает Веня, не шевелясь, или левую заднюю? Ног слишком много, и восторг мешает ему сосредоточиться. Зато если оставить незакрытой пустую бочку из-под собачьего корма, спустя четверть часа она оказывается опрокинута, и в ней уже лежит Веня, потрясенный и счастливый, и шумно дышит внутри синих пластиковых боков, как Дарт Вейдер. Покинуть бочку по собственной воле он не в силах.

Что если сесть на корточки и расставить руки в стороны, он летит в объятия как пуля, как пушечное ядро, но почти всегда промахивается и пролетает мимо, и стучится головой в стену или диван. Что, падая с лестницы, он застревает, проваливается нижней частью тела между ступеней и висит сколько нужно, вцепившись когтями в мягкое дерево. Не кричит, не зовет нас, просто ждет, пока мы его спасем. Когда кто-то так в тебя верит, соскочить уже нет шансов. Ты просто раз в полчаса как миленький бегаешь проверять лестницу.

Много раз в первые дни мы обсуждали разные версии его происхождения, и сильнее прочих нам понравилась одна: не было никакого приюта, никаких бывших хозяев. Всё случилось неподалеку от нашего забора, у нас тут полно неучтенных ничейных мест. Ночь, тьма, заросшее сорняками поле, и внезапно с лязгом сверху – голубой сноп света, освещающий слежавшийся снег, черную прошлогоднюю траву. И материализуется Веня.

Его пытались, конечно, замаскировать под собачку, но явно у них под руками была картинка, а настоящих собак они не видели никогда. В мелочах, кстати, и внешне не всё гладко. Все-таки как ни крути, а глаза смотрят в разные стороны, и время от времени моргает сначала правый, потом – левый. Явный сбой в программе. С начинкой и вовсе беда: лаять не умеет, забывает открыть рот. Если сидит, то на собственном хвосте. Ходит на цыпочках. И наконец, самый серьезный прокол: он просвечивает на солнце, весь. Ладно бы только уши, этим грешат многие блондины, но чтобы ноги? Живот?

Выслушав эту теорию, посмотреть на Веню приехали наши друзья и сказали: да у него скафандр просто не отрегулирован. Что вы за люди такие, сделайте вид, что не заметили, хватит смущать парня. А мы и правда стали смеяться сорок раз в день. Пятьдесят. Мы вообще довольно смешливые, но чтобы сорок отдельных раз в сутки хохотать – нет, такого с нами не было никогда.

Словом, за неделю до приема у звездного собачьего невропатолога мы позвонили маме и сказали: мам, не сердись, но мы решили его оставить. Ха, сказала мама. Кто бы сомневался.

Если перевести заключение МРТ на обычный язык, оказалось, что у юного нашего друга недоразвит мозжечок. Не было ни травм, ни инсультов, он сразу таким родился. Выводя собачьи породы, человечество сотни лет увлеченно сражается с эволюцией, закрепляя любые странные свои капризы вроде формы ушей или оттенка шерсти, и в результате этой борьбы такие, как Веня, иногда вываливаются из конвейера. Бракованные с рождения. Не секрет, что белые боксеры часто оказываются глухими. В Венином случае природа просто нанесла ответный удар посильнее и отняла у него координацию движений.

Честно говоря, мы даже почувствовали облегчение. Ну подумаешь, мозг не вырос; половина планеты примерно в том же положении. Он-то всего лишь лает с закрытым ртом, падает со ступенек и раз в два дня сжигает собственные усы в камине, а многие ухитряются занимать серьезные посты, выступать по телевизору, писать статьи и законопроекты.

Мы, конечно, всё равно спросили – и что теперь? Как отрачивать мозг? Надо ли лечить? Веню не надо лечить, сказала доктор. Веню надо любить.

И тут мы поняли, что с этим как раз уже всё хорошо. Это у нас получилось само собой.

Природу любви, конечно, понять невозможно.

К нашим годам практичные люди ни пальто уже белых не заводят, ни машин, а тут нам достался целый белый Веня. Подмосковные суглинки пачкали Веню снизу и до колен. Каминная топка, где временами нет-нет да и печется шашлык, пачкала Венино лицо снизу. А потом мы затеяли стройку, и вдоль борта у Вени появились липкие смоляные следы, ну что делать, оказалось, он любит прижаться щекой к оцилиндрованному бревну. Отряхиваться он не умел, как-то это связано с нарушением равновесия, и восстав из пепла и опилок, Веня ходил как есть, во всей своей первозданной красе прямо по нашей гостиной, среди диванов, журнальных столиков и дорогуших трехметровых штор.

К тому же он был огромен и мускулист. Большая голова, длинные ноги и широкая грудь, и все мышцы постоянно в тонусе, это тоже связано с мозжечком. Если удачно подпереть Веню балконными перилами, он выглядел как киноактер Ченнинг Татум (мужественное лицо, кубики на животе), но любоваться следовало молча, ничем не выдавая восторга, потому что, заслышав ласковое слово, Веня пытался броситься с балкона вниз, в объятия, и на прямых ногах летел со ступенек. И мы зашили все лестницы снизу фанерой, чтобы он не падал насквозь, и привыкли просыпаться среди ночи, чтоб вскочить и поправить Веню, у которого в голове кувырнулся водяной уровень, отвечающий за верх и низ, и который бился, как опрокинутый на спину жук, размахивая четырьмя могучими ногами в воздухе, снимая стружку с наших деревянных стен.

Однажды к нам приехала красивая рыжая женщина в белой куртке с меховым воротником, и Веня робко бродил, бродил вокруг воротника, а затем аккуратно взял его в зубы и понес жениться. Мы обернулись и поглядели на него (он отступал, пятясь, держа воротник в зубах, не верил своей удаче), и красивая женщина решительно встала и оторвала меховой воротник от своей куртки, и подарила его Вени навсегда.

Потому что единственный Венин бесспорный талант – заставлять таять слабое человеческое сердце – неожиданно перевесил все неудобства и хлопоты, возникшие с его появлением. Мы просто научились вовремя отодвигать стулья, быстро вскакивать, чтоб распахнуть опасные двери, без сожалений жертвовать меховыми воротниками и пять минут ждать с сыром на ладони, не двигаясь с места, безо всяких усилий. Просто из любви.

Любить кого-то, чьи радости просты (еда, тепло, приязнь незнакомцев и, может быть, еще твои покаянные поцелуи, хотя в ценности последних ты никогда до конца не уверен), – легко. Нет, правда, легко и весело, и в то же самое время очень больно, как будто боль только усиливает любовь; как будто любви без боли вообще не бывает.

Больно было смотреть, как, прежде чем броситься в погоню за счастьем, Веня всякий раз замирает. Собирает свои громадные мышцы, напрягается весь целиком, до кончиков ушей, до пальцев ног. Растопыривается, деревенеет. Бегать ему всегда было непросто, и при этом он искренне ждал от Вселенной добра, так что это была судорога счастливого предвкушения. Но всё равно – судорога.

И мы смотрели на Веню, который бежит на негнущихся ногах, взволнованный и счастливый, за гроыхающим в миске кормом, лежать на солнечной веранде или навстречу гостям. И всегда, абсолютно всякий раз тяжелая двустворчатая дверь гостиной неожиданно, прямо посреди радости била его в лоб или в плечо. С размаху. Иногда это напоминало дружеский хлопок, а в другие дни это был недружелюбный болезненный удар, и всякий раз Веня охал и терял равновесие, на крошечную долю секунды тормозил, но счастье близко, достижимо, глупо не бежать дальше, вот же оно, вот! И он бежал – неомраченный, безмятежный, не оборачиваясь. Прямо на бегу прощая подлую дверь. Два, три, четыре года подряд мы наблюдали за тем, как бог упорно, раз за разом испытывает его. Потому что дело ведь было не только в двери. Была еще, например, лестница, ведущая в сад, которую нельзя миновать и которая дергалась у Вени из-под ног и лупила его по голове коваными перилами всегда, обязательно, много раз за день, без выходных. И даже когда он просто сидел, тихо сидел на попе и никого не трогал вообще, вероломная, непредсказуемая планета время от времени делала кувырок. Верх менялся местами с низом, солнце кидалось под горизонт, а каменный пол вспучивался сам по себе и бил Веню по затылку – ни за что, безо всякой причины, просто так.

Как облегчить Вене жизнь, нам до сих пор понятно не до конца. Будь он маленьким, как такса или кот, мы сшили бы мягкий карман и спрятали его внутри, и вынимали б его оттуда только затем, чтобы кормить и целовать. Сносили бы его с лестниц на руках и ставили в мягкий снег, в одуванчики, в клевер, в чистую теплую траву. Но Веня для этого слишком большой, и мы не можем поднять его, взять на руки, не можем даже как следует обхватить, чтоб согреть. Каждый день мы смотрели, как он падает с лестницы, застревает в перилах и стучится головой об пол и как проклятые двери, стулья и шкафы бьют и бьют его в лоб, в глаз и в плечо. И это нельзя было исправить, никак. Всё, что мы могли предложить ему, – регулярную еду, тепло и бесполезные поцелуи. И наше сердце, полное жалости.

Под белой шерстью синяки незаметны, это просто припухлости. Голова, колени и локти у него всегда были в шишках. Он падал, стучался, кувырвался и бился обо всё тридцать раз за день. Сорок. Тряс головой и замирал, удивленный – и спустя секунду забывал причиненное ему зло. Не сердился, не обижался. Был снова готов к радости.

От Иова Веня отличается тем, что не религиозен. Не терпит, не смиряется. Не осознает страданий и не ропщет. Просто живет.

Иногда нам кажется, что бог испытывает не Веню, а нас. Каждому дается по силам, а мы не очень сильные, так что нам повезло. Нам дали не больного ребенка. Нам просто дали собаку, глупую белую собаку. Никогда не могла понять эту фразу из Нагорной проповеди насчет нищих духом. Ну как это, думала я, что значит – нищие духом? Почему блаженны? И главное, за что им царствие небесное? Мне кажется, я догадываюсь теперь, в чем там дело. Они нас туда, если мы будем хорошо себя вести, втащат за собой паровозом.

В Венином мире каждый предмет потенциально опасен – столы, стулья, двери и цветочные горшки, даже пол. Ему так долго везло, что мы даже немножко расслабились. Честно пове-

рили в его особую суперсилу. Перестали дрожать и при малейшем шуме бросаться к окну. За всей Вселенной не уследишь; ни он, ни мы просто не видели нужды как-то выделять лестницу, и как всегда бывает, именно лестница его и победила: в один из дней он сорвался с верхней площадки и упал, и повредил ногу. И с этого дня из четырех небезупречных Вениных ног на борьбу с мирозданием осталось только три. А он и с четырьмя ногами справлялся через раз. Ну, и тогда мы начали сносить его в сад на руках.

К слову, я всегда говорила, что не стану его носить. То есть скормить ему собственное сердце с ладони – легко, но поднять огромную собаку на руки и нести? Да ладно, бросьте. А потом я обнаружила, что четырежды в день стою, согнувшись, и держу Веню на весу над клевером, как младенца над горшком, думая одно и то же: господи, как хорошо, что Венья – не лошадь.

Разумеется, мы не сдались и в третьем акте всё равно запланировали хеппи-энд, и построили пандус, длинный пологий спуск без ступенек и поворотов. Для этого нам пришлось расширить веранду – несильно, максимум вдвое, но у меня как раз набралось тридцать три горшка с лавандой, розмарином и цветочками, которые наконец стало можно расставить по-человечески. В нашем третьем акте Венья должен был победить лестницу, сколько бы ног у него ни осталось, потому что у него появилась персональная посадочная полоса.

А зимой, думали мы, он сможет съезжать по ней на попе. Прямо в мягкий сугроб, ослепительный и прекрасный.

Но и этот план, разумеется, не сработал. В прошлом году ноябрьский ледяной дождь оборвал провода, оставив нас без электричества (ненадолго), и превратил наш сад в каток. В толстое хоккейное стекло, присыпанное снегом. Расплющил можжевельники, которые я растила пять лет, убил маленькие туи и согнул взрослые, и даже у новеньких наших яблонь и сирени отгрыз полтора метра верхних веток, примерно два года жизни. Всё, что мы берегли и любили, остекленело и сломалось под корень. Лед падал с неба всего две недели, а испортил много лет в обе стороны. Хрупкий лес за окном, и сад, и нашу радость от зимы, и Венин пандус, который мы построили осенью, превратил в сорок пять градусов острой, как наждак, колючей пыточной горки. Сколоть лед оказалось невозможно, он был твердый, как бетон, и Венья съезжал вниз, исцарапанный, и внизу на скользком льду падал каждые полминуты. Вообще не мог ходить, просто лежал в конце спуска в жгучем снегу ногами вверх и ждал, пока мы сбежим вниз и поднимем его.

Вдруг мы поняли, что и пандус, и все наши прочие смешные усилия – фигня. Что Венья давно уже не бежит кругами, не носит стулья на спине, не сворачивает дверные косяки, и даже к ужину не может добежать без помощи и падает каждые три шага. Не сердится и не хулит мироздание, по-прежнему верит, что мы возьмем на руки и принесем его – к еде. Или еду – к нему. Мы набирали корм в миску и слышали, как он за стеной упал и поднялся, и упал еще раз, и сердце наше болело, болело невыносимо.

Конечно, не надо было мне шутить про лошадь, потому что Вселенная сразу отозвалась на шутку, и отозвалась нехорошо, она всегда так делает. И когда мы снова поехали к врачу, оказалось, что он порвал крестовидную связку на левой коленке, которую придется резать и вставлять шуруп, и потом четыре месяца ждать восстановления в состоянии полного покоя, которого в Венином случае добиться можно было, если только подвесить его на стропах и при этом сделать так, чтоб он спал, ел и писал, не касаясь ногами пола, примерно двадцать дней, и не сошел при этом с ума – словом, он в самом деле превратился в лошадь, в любимую лошадь со сломанной ногой.

Мы ехали из клиники и придумывали. Гамак или массажный стол, но куда девать ноги? Люлька, ремни, рама от детской коляски? А еще ведь надо, чтоб ему было удобно лежать, мягко и нестрашно. И чтобы это всё можно было возить по дому, из кухни в спальню и назад, и ставить рядом, он не любит оставаться один.

Потом выяснилось, что есть ребята, которые делают удивительные штуки – ходунки для собак, у которых отнялись ноги, и коляски на велосипедных колесах, и поддержки, которые хозяин может нести на плече. Мы, разумеется, испробовали всё. И разумеется, ничего из этого нам не помогло.

Нет, операция прошла успешно. Нога, конечно, выглядела жутко: лысая и неживая, как голень индейки; на ней шов-красавец, безупречный, достойный батистового платка, внутри шурупы. Но весь остальной Веня налаживался стремительно. Ходить ему было нельзя, и несколько недель он просто сидел в подушках, ленивый, как Пацюк, а миски мы носили ему под нос. Мамаша, одеяло поправьте, изредка говорил Веня из подушек, и велите подать обедать.

Мы очень старались, у нас всё было готово, ветеринары даже прописали Вене каких-то успокоительных колес. Мы боялись, что он станет биться и вскакивать и повредит сустав, но ничего не пригодилось, он оказался неожиданно смирен. Принял новую вводную, как и все предыдущие: нет ноги, ну значит, нет. Просто ждал, когда она снова появится. На случай, если он начнет во сне кувиркаться, я накидала на пол подушек и пледов для себя тоже, запаслась вином и сериалами. И это, будем честны, оказался не худший способ прожить три недели.

Но когда после месяца в подушках Веня получил-таки разрешение ходить, оказалось, что ноги по-прежнему нет. Всё зажило, сустав держится крепко, и даже шов зарос безо всякого следа, как будто и не было никакого шва. Я думаю, тут никто не виноват. Хирург молодец и нигде не ошибся, мы тоже поднажали; просто за это время Веня забыл, зачем она нужна. И решил жить без нее.

На улице этот вопрос решается легко, у нас ходунки. Чтобы прогуляться по сугробам, достаточно взяться за ручку и тянуть Веню за собой, как чемодан. Но дома сложную сбрую из ремней и пряжек приходится снимать, нельзя же сутками жить в пальто и ботинках, и поэтому распряженный Веня сидит-сидит в своих подушках, а потом вспоминает, что хочет воды, или поесть, или просто пересест в солнечный квадрат на полу. И тогда он вскакивает и бежит сломя голову с жадным восторгом, как всегда. Безо всяких скидок на отсутствие ноги, которая не работает совсем. Которой у него больше нет. И падает каждые два шага, стучится о каменный пол.

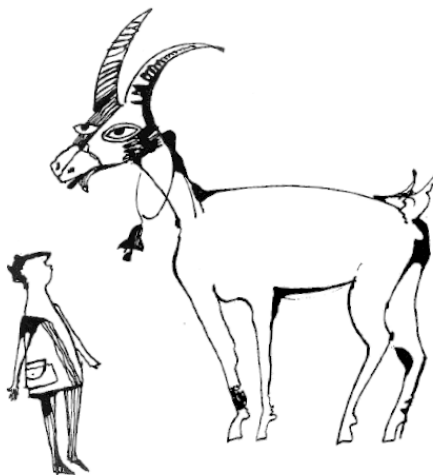
Именно с этой его безмятежностью мы как раз справляемся хуже всего. Веня, который вспомнил об ужине, или заскучал, или просто решил кого-нибудь расцеловать, не начинает осторожничать и беречься. Он просто бежит, и всё. Как если бы ничего не было – ни разорванных связок, ни шурупов в коленке. Уверенный в том, что проблема какой-то дурацкой задней ноги, которую он ни разу в жизни не видел даже, устроится как-нибудь без его, Вениного, участия. Бежит без сомнений, на трех хороших ногах и одной негодной, не сбавляя скорости. Убежденный, что Вселенная подсуется сама. Ну и, в общем, она так и сделала, подсутилась. Вместо четвертой Вениной ноги теперь – я. И по нехитрым Вениным делам мы всегда вскакиваем и бежим все вместе, я и остальные три ноги. Не расстаемся.

Не буду скрывать, из всех моих карьерных поворотов этот – самый пока неожиданный. Ну то есть я надеялась, что сгожусь еще для чего-нибудь эдакого, знаете. Напишу еще один роман или, например, сценарий. Но в моей условной трудовой книжке в графе “должность” сейчас записано: задняя Венина нога. Левая. А всё остальное уже так, фриланс.

И все-таки я по-прежнему смеюсь сорок раз в день, потому что счастлива. И мне всё так же больно. Потому что любовь.

Роман Сенчин

А папа?



Наверное, и до этого у Гордея была жизнь. Наверное, он плакал, смеялся, смотрел телевизор, играл в игрушки, рыл пещерки в песочнице, знакомился, дружил и ссорился с мальчиками и девочками. Но теперь он ничего не помнил о том времени. Еще совсем недавнем, вчерашнем. Оно забылось, как сон утром. Лишь пестрые блики, ощущение, что там было важное – хорошее и плохое, – а что именно пропало. Стерлось, испарилось, исчезло.

Остались лишь мама, знакомая одежда на нем и две большие сумки на колесиках, возле которых он, Гордей, стоял недавно радостный и довольный, ел что-то сладкое и душистое. И воздух пах тогда вкусно, и много-много теплой воды было перед его глазами, и нестрашно кричали бело-серые быстрые птицы в небе... Но где это было, где он стоял...

Теперь эти сумки мама катила то ли с физическим, то ли с каким-то другим усилием и стонала. Гордей пытался ей помогать, а мама говорила сердито и мокро:

– Да не висни ты! Не висни, господи!

Пришли туда, где много людей, и все с сумками, чемоданами, тележками. Одна тележка чуть не сбила Гордея с ног; он вовремя спрятался за маму...

Остановились у вереницы одинаковых домиков на колесах. Домики походили на лежащие на боку огромные чемоданы, но в них были окна.

– Мама, это поезд? – спросил Гордей, обмирая от радости и страха.

– Поезд, поезд... Вон наш вагон...

Мама подала бумаги женщине в синем костюме. Та посмотрела и сказала:

– Места девятое, десятое.

Дверь была высоко, к ней вела лесенка. Мама стала поднимать сумки, но у нее не получалось.

– Помогите, – попросила мужчину, стоящего рядом и ждущего своей очереди забраться в вагон.

– Я не носильщик, – сказал мужчина.

Мама прошипела что-то, собралась с силами и закинула сначала одну сумку, потом другую.

– А и хрен с ним, – хохотнула зло, – всё равно больше рожать не хочу!.. Гордей, залазь. Живо!

Долго ли они ехали в поезде, он не понял. Стал осматривать полки, столы – один на палочке, другой висящий без всего, окна с двух сторон, в которых побежали дома, деревья, облака, и уснул.

Разбудила мама – вытолкнула из уютного мирка, который сразу забылся, – усталым и строгим голосом:

– Поднимайся. Сейчас выходить.

Гордей сел, ощупал себя, понял, что одет, готов, и тут же веки отяжелели, голова склонилась...

– Пошли-пошли!

Одну сумку мама несла в руке, другую катила. Он плелся сзади, боясь спрашивать, куда они едут, где сейчас выйдут. Вагон покачивался, и Гордей ударялся о разные выпирающие в проход штуковины. Было больно, но жаловаться он не смел...

У двери стояла та женщина в синем костюме. Когда поезд стал тормозить, отомкнула ее большим ключом, а когда почти остановился – открыла.

Наклонилась и с лязгом опустила лесенку.

– Минуту стоим, – сказала маме.

Мама дернулась:

– Так пропустите!

Женщина подвинулась, и мама стала спускать по ступенькам первую сумку. Сумка опускалась медленно; мама плюнула – “тьфу!” – и бросила ее вниз. Потом так же – вторую. Подхватила Гордея... Гордей хотел сказать, что он может сам. Угадал: не надо. С мамой сейчас не надо спорить. И даже говорить ей ничего не надо. Лучше молчать.

На улице было странно. Вроде тепло, но приходили волны сырого холода, и тело начинало дрожать; вроде темно, а с одной стороны небо краснело и выше сочно синело, как та теплая вода в забытом хорошем месте.

Под вагонами шикнуло, и поезд поехал. Сначала медленно, через силу, но тут же набрал скорость, и последние вагоны промчались мимо Гордея и мамы так, что завихрило.

Мама открыла одну сумку, вытащила кофту. Протянула Гордею:

– Одевай.

Он послушно стал надевать. Но запутался, и мама, всхлипнув, резкими движениями ему помогла.

– Пойдем на вокзал.

Вокзал был большой комнатой с сиденьями. На нескольких скрючились во сне люди. Мама посмотрела на часы и пробормотала:

– Еще два часа. Черт... – Повернулась к Гордею: – В туалет хочешь?

– Нет. – Он честно не хотел.

– Садись тогда. Поспи.

Он сел, положил голову на спинку сиденья, закрыл глаза.

Спать теперь не получалось, но он мужественно сидел так, с закрытыми глазами. Казалось, если будет слушаться, что-то изменится. Снова станет как в том времени, которое теперь он не помнил. Только ощущал.

Может, потому и не помнил, что там было хорошо и понятно – для чего запоминать? А вот это всё, происходящее сейчас, он, знал, запомнит. И будет долго разбираться, что происходило, зачем сумки на колесиках, такая, будто чужая, мама, зачем поезд, вокзал, это неудобное сиденье...

– Пора, – раздался мамин голос, и сразу за этим – легкий тычок: – Встаем. Сейчас автобус приедет.

Автобус оказался коротким, с одной дверью и узким проходом внутри. А людей – много, все места заняты. Стоявшие люди ругались на маму, что она всё заставила своими сумками.

– Я за багаж заплатила! – отвечала мама металлически.

Люди продолжали ругаться. Гордей жался к сумкам.

Потом автобус поехал, и люди постепенно стихли.

Дорога была в ямах и кочках, Гордея подбрасывало, болтало, и вскоре он почувствовал, что в глубине горла стало горько, там забулькало.

– Мама, – позвал он.

– Что? – Мама пригляделась и стала доставать что-то из кармана. – Тошнит? – Развернула пакет. – Давай сюда вот.

Гордея вырвало. Чуть-чуть. Наверное, потому, что он давно ничего не ел и не пил. И еще – он изо всех сил сдерживался. Было стыдно, что это с ним случилось. Все вокруг ведь нормально едут.

От этой мысли – что он сдерживается – Гордея затошнило снова. Мама подставила пакет и кому-то в сторону зло сказала:

– Вместо того чтоб кривиться, место бы уступили.

– Аха, я должен такие деньжищи за билет выкладывать и еще стоя ехать, – ответил хрипловатый мужской голос. – Щ-щас!

Люди снова стали ругаться. Но теперь ругали не маму, а этого мужчину с хрипловатым голосом. А одна пожилая женщина поманила Гордея:

– Иди, милый, ко мне на коленки.

Гордей замотал головой, а мама толкнула его:

– Ну-ка давай. Еще в обморок хлопнуться не хватало. Иди, сказала!

Гордей не любил чужих людей, не привык к ним. В садик его пока не отдавали, и он не научился быть в коллективе. Разве что на детской площадке, но тех детей он теперь забыл.

А автобус был тем самым коллективом. Не дружным, и все-таки каким-то единым.

– Иди, иди, – говорили люди с разных сторон. – Посидишь, ножки отдохнут, животик уляжется.

На мягких ногах женщины действительно стало лучше. И Гордей не заметил, как положил голову ей на грудь, а потом свернулся калачиком, приобнял... Ему стало казаться, не мыслями, не словами, а неосознанным чувством, что он в кроватке, как совсем маленький, и ее, эту мягкую, теплую кроватку, покачивают бережные руки. Мамины или кого-то еще, родного.

И опять торможение.

– Просыпайся! Вставай, говорю! Подъезжаем!

Гордей с великим усилием вернулся из дремы. Жалобно стал оглядываться вокруг, не понимая уже, где он, что ему делать.

– Пора тебе, милый, – сказала женщина, – мама зовет. – И спустила в проход меж сидений.

Мама была в начале автобуса. Устраивала там сумки у двери.

– Шагай сюда живо! – велела Гордею.

Потом шли по улице без асфальта. Вместо асфальта была кочковатая земля, ямки присыпаны чем-то серым, хрустящим. Может быть, потом, когда подрастет, Гордей узнает, что это зола от сгоревшего угля.

Справа и слева домики в один этаж, ворота, покрашенные синим или зеленым, тянулись щелястые заборы... Улица была длинная, однообразная, и уставший Гордей не верил, что у нее есть конец.

У одних ворот, некрашенных, деревянных, мама остановилась.

– Ну вот, – выдохнула успокоенно.

А Гордею стало страшно от этого выдоха. Словно мама поставила точку, но поставила в неправильном месте. Он слышал, что писать это очень сложно. Кроме букв есть еще точки,

запятые, какие-то другие знаки, и если их поставить не там, то слова станут означать не то, что нужно.

Мама взялась за железное кольцо и открыла калитку в воротах. Перекатила через деревянный порожек-доску сумки. Одну, другую. Оглянулась на Гордея:

– Заходи. Чего ты...

Он послушно вошел на заросший травой двор. По центру трава была низкая, а вдоль забора, у ворот – высокая, волосатая, с темно-зелеными листьями.

– Это крапива, – сказала мама, – ее не трогай. Кусается.

В мамином голосе появилась жизнь, даже что-то веселое... Нет, не веселое, а такое, от чего Гордею стало легче. Захотелось прыгать, играть.

Слева стоял домик, в нем была обитая черным потрескавшимся материалом дверь. Дверь заскрипела, когда мама потянула ее на себя.

– Тёть Тань, – позвала мама. – Ты тут?

Из глубины домика ей что-то ответили.

– Пойдем, – сказала мама, втаскивая сумки в полутьму.

В этой полутьме было душно и жутко. Так, наверное, выглядит жилище Бабы-яги. А вот и она. Темная, в платке, налезавшем на лицо, в сером переднике. И скрипуче она говорит:

– А, прибыли? Я уж и ждать перестала.

– Да всё так... – жалобно отозвалась мама, стала объяснять: – Думала, наладится еще. Ждала тоже...

– Ну чего ж, проходите. – И Баба-яга, наоборот, сама пошла к ним; Гордей прижался к маме. – А это и есть твой?

Мама быстро и мелко закивала:

– Он. Гордей.

– Не дождалась Ольга-то. Не увидела.

– Да-а...

– А как его так, ну, ласково называть?

Мама посмотрела на Гордея:

– Гордюша, наверно.

– Гордюша... Это от “гордый”, получается.

– Ну, не знаю. Можно Гордейка как-нибудь...

– Ладно, проходите. Чего в пороге мяться...

Мама подтолкнула Гордея вперед:

– Познакомься, это баба Таня. Твоей родной бабушки Оли сестра. И тоже, значит, твоя бабушка. Понял?

В доме пахло невкусно. И то ли от этого запаха, то ли от усталости Гордея снова стало тошнить. Он глотал набегающую изнутри в рот горечь обратно, а она возвращалась.

– Как доехали-то? – спросила баба Таня.

– Боле-мене... Доехали.

– Есть, поди, хотите?

– Я бы поела. Привезла тут кой-чего. – Мама стала открывать одну из сумок.

– Доставай-доставай. У меня-то не шибко. Пенсю почти всю Виктору отсылаю. До сих пор всё работу найти не может... В наше время каждая рука наперечет была, а теперь – гуля-ай...

– Я деньги оставляю, – перебила мама. – Вы Гордея как-нибудь... ну, чтобы не голодал хоть...

Баба Таня всплеснула руками, передник колыхнулся, как лист картона.

– Ты чего молоть начала?! Голодать, ишь! Хлеб с медом всегда будут. У меня ж хахалёк пять ульев держит. – Она заговорила тише и как-то сладенько. – Геннадия помнишь? Вот он

ко мне, как свою схоронил, прям лезет, как этот... Так. Картошки полно подполье... Огород сейчас пойдет, огурцы все в зародках... Голодать он будет... Придумала!

– Спасибо, спасибо, тетя Тань, – дергала головой мама. – Я так... вырвалось.

– Много у вас вырывается... С ума послетали в городах, вот и беситесь. Своды-разводы... Держать себя надо, чтоб не вырывалось... Ладно, руки вон мойте и давайте есть, что ли. С дороги-то...

– Я не хочу, – твердо сказал Гордей.

Мама посмотрела на него; лицо ее было страшным.

– Как – не хочешь?

Гордей представил, что в него насильно запихивают чужой ложкой из чужой тарелки что-то теплое и вязкое, как каша, и ему стало противно до слез.

– Не хочу, ма-ам!

– Ты со вчерашнего вечера ничего...

– А не уговаривай, – сказала баба Таня. – Не уговаривай. Захочет – сам подойдет, просить станет. Чего баловать? – И махнула Гордею на дверь: – Поди погуляй, двор погляди.

Мама испугалась:

– Как он один там?

– А чего? Калитку закрыла?... И пускай. Надышится, аппетита наберется... Собаки у меня нету... Ох, изнежились вы там, и ребятишек таких же растите. До пенсии ширинку им будете расстегивать, чтоб пописили.

– Ладно, Гордей, иди, – разрешила-велела мама и сама открыла ему дверь, не уточняя, хочет он гулять или нет. – Только на улицу не выходи. Понял?

Гордей постоял несколько секунд – пугало новое место, но и оставаться здесь, в домике, было тяжело и опасно. Останется, и начнут кормить, а он не будет, и мама заругается, может и шлепнуть... Он шагнул, снова постоял, теперь на крылечке, и пошел по двору.

Двор был скучный – ни качелей, ни песочницы... Гордей подобрал кривую палочку, поставил, что это сабля, а он – воин. Нужен был враг... Ударил по высокой травине с темно-зелеными листьями и волосатым стеблем. Травина дернулась и, надломившись, повалилась на Гордея. Он быстро попятился.

Постоял, глядя на поверженного противника и, размахнувшись, ударил по второй травине. Та стала падать вбок, на другие травинки, но вдруг изменила направление...

На этот раз отскочить он не успел, и листья задела его по руке.

Сначала Гордей ничего не почувствовал, а потом руку защипало, зацарапало... Он выронил палку, схватил здоровой рукой раненую, сжал. Глазам стало мокро; он побежал было к маме, но тут же передумал.

Не надо. Потерпит. Тем более колет и щиплет не так уж сильно. Потер кожу, прислушался. Да, боль стихала.

Поднял палку и ударил по третьей травине. И сразу побежал спиной вперед. Когда третья лежала на земле, опять подошел к зарослям. Врагов было много...

– Привет, – сказали ему; будто сама трава сказала. – Ты кто?

Гордей опустил палку, присмотрелся. Сквозь стебли и щели забора на него смотрели дети.

– Я – Гордей, – четко, выговаривая сложную “р”, ответил он.

– А ты откуда?

– Я – приехал.

– К баб Тане?

Гордей помолчал и сказал:

– Да, к бабе Тане. – И добавил для твердости: – Я с мамой приехал.

Дети за забором помолчали, потом кто-то из них спросил осторожно:

– А кто твоя мама?

Гордей не знал, кто его мама, кроме того, что она его мама. Но он вспомнил нужное слово и ответил:

– Директор.

Дети снова помолчали. И задали новый, еще более сложный вопрос:

– А папа?

– Папа...

Да, про человека, которого называют “папа”, Гордей слышал. Он такой же важный, как мама, но другой... “Мама и папа”. Но своего папу он не мог вынуть из забытого им времени.

И Гордей сказал:

– Мой папа – президент!

За забором засмеялись.

– Путин?

Слово “Путин” Гордей знал. По телевизору часто говорили это слово, и мама тоже иногда. Но оно не подходило для папы. А “президент” – подходило.

– Не Путин. Другой президент. – Гордей замялся, но фантазия выручила: – Он всеми машинами управляет. Как на них ездят.

Дети пошептались и позвали:

– Выходи играть.

Вот так запросто пойти к незнакомым было нельзя. Мало ли. Да и мама разозлится. Она его далеко никогда не отпускала, и что он точно хорошо помнил, так это ее крики во время прогулок: “Гордей, ты куда?! Вернулся сейчас же! Быстро ко мне!”

Но не пойти к детям нужно было как-то с достоинством. И тут помог голод – забурчал в животе, стал щипать.

– Я есть хочу, – сказал Гордей и пошел в дом.

Вслед раздалось:

– Вынеси печенюшек!

– И конфет!..

Есть пришлось согревшуюся в сумке, липкую колбасу с хлебом. Гордей жевал и пытался вспомнить, кто по-честному его мама и папа. Папа был, точно был, но какой он, Гордей не мог представить. И мама не рассказывала про папу...

– Мам, – спросил, – а ты кто?

– Х-хо! – Мама посмотрела на бабу Таню, ища у нее поддержки в своем изумлении. – Я твоя мама! Нет?

– Я знаю... А ты начальник?

– Хотя бы для тебя да, начальник. Не будешь слушаться – такой выговор по жопе влеплю.

Гордей кивнул, потом, решившись, спросил еще:

– А папа кто?

– Папа?.. Папа – козел с бубенчиком.

Баба Таня печально вздохнула, а мама повторила твердо, колюче:

– Козел.

Что такое “козел”, Гордею было известно. Такое животное с рогами. Некрасивое и противное. И опасное – бодается.

Что оно могло быть его папой, он не поверил. Хотя как-то он видел по телевизору, как один мальчик превратился в козленка, потому что попил грязной воды из лужи. И сестра мальчика очень плакала... У Гордея появился новый вопрос:

– Его превратили?

– А?..

– Его в него превратили? Папу.

– Сам он себя превратил.

– А где он?

– Ты что, решил доканать меня? Пасется он, пасется, как все козлины. Всё! – Мама рассердилась. – Поел – пей сок и... и иди вон в комнату. Я тебе игрушки там достала...

Гордею хотелось вернуться на улицу, к детям, которые наверняка его ждут. Но на столе не было ни конфет, ни печенья, нечем их угостить, и он пошел к игрушкам.

Стал расставлять кубики, которые превратятся в дома, и он будет катать между ними машинку. Слышал малопонятный разговор мамы и бабы Тани. Вернее, не хотел понимать, чтобы не испугаться.

– Полгода думала, что образумится, придет... Первое время хоть переводы иногда присылал, а потом вообще. Исчез, козлина. Даже на ребенка ни копейки... Последние два месяца за квартиру нечем было платить. Хозяин гопарей нанял, чтоб выкинули... Вот с двумя чемоданами осталась. И с этим...

– О-хо-хох...

– Одна я, может, куда и приткнусь, а с ним... Пусть с вами побудет, тетя Тань...

– Что ж, говорено уже...

– Спасибо.

– Просрала свое женское счастье, теперь вот маешься.

– Какое счастье, тетя Тань? Вы б его видели...

– Что, гвоздил он тебя? Пил запоями? А?

– Пить – не очень, а руку поднимал.

– Ну так, видать, доводила. Ты – языком, а он – кулаком. Пилила, а?

– Срывалась... Но я человек эмоциональный. Что, молчком всё, что ли?

Баба Таня скрипуче посмеялась:

– В постели надо свою эмоциональность проявлять, а не так. Срыва-алась она...

– А что ж вы с дядь Витей разбежались?

– Но-ка! Ты в нашу жизнь не залазь. Свою устрой, тогда и будешь...

– Извините.

Мама вошла в комнату и сказала Гордею дрожащим голосом:

– Наигрался? Надо поспать. Заканчивай.

Гордей молча кивнул. Собрал в кучку кубики... Спать не хотелось, и теперь он вообще трудно засыпал днем, но говорить об этом было страшно. Лучше слушаться.

Умывались не под краном, а под какой-то кастрюлей, в дне которой был штырек. Этот штырек нужно было толкать вверх, и тогда из отверстия лилась вода... Кастрюля висела высоко, и вода стекала Гордею под рукава, за шиворот. Вместо раковины было ведро на табуретке, из него иногда вылетали грязные капли...

– Белье там в стопочке, – говорила баба Таня, – сами застелитесь.

Мама застелила железную кровать и уложила Гордея на чистую, но пахнущую какой-то прелью простыню. Накрыла одеялом. Присела рядом. Потом прилегла.

Смотрела на Гордея странно-пристально, гладила по голове. Молчала. Гордей тоже смотрел, смотрел на нее, а потом его глаза устали и закрылись. И он уснул.

После того как проснулся, началась жизнь без мамы.

Гордей, конечно, спросил бабу Таню:

– А где мама?

Та ответила:

– Уехала твоя мама. Со мной покоротаешь... Вернется потом. – И добавила строго: – Не плачь! Не люблю плаксунов. Я их в печке сушу.

Гордей оглянулся на большую, покрытую пыльной известкой печь и не стал плакать. Что толку... Маму слезами не вернешь, а эту старуху, которая, может, по-настоящему Баба-яга и

притворяется простой бабушкой, разозлишь. Возьмет и засунет в печку, а маме скажет потом, что он потерялся.

Баба Таня покормила его гречневой кашей с колбасой и отправила гулять во дворе.

– Там на задах, за избой, курицы есть. Погляди, только не заходи к им, а то выпустишь, весь огород склюют.

Куриц смотреть желания не было. Гордей подошел к калитке и стал изучать улицу через щель. Улица была пуста и тиха. Стало скучно. А потом обидно, что мама его оставила. Уехала.

Но, наверное, ей очень надо. Она сделает дела и вернется. И вернется...

Домик бабы Тани был маленький: кухня, в которой баба Таня спала на узкой кровати, приставленной к спине печи, и комната, где поселили Гордея. В комнате высокий, с пятью рядами ящиков, комод, кровать, стулья, коврик с рогатым оленем на стене... Телевизор был на кухне, и Гордей боялся проситься его смотреть – баба Таня сама смотрела, и всё какие-то неинтересные передачи про болезни.

Во дворе было куда интересней. Опасная, но странно притягательная трава-крапива, с которой хотелось воевать и воевать, пугающая чернотой в окошечке баня, брошенные сарайки, в которых пахло едко и таинственно, груда поломанных и трухлявых досок, из которых торчали рыжие изогнутые гвозди, курицы за сеткой, требующие у Гордея травки. Он давал им травку, мягкую и неколючую, которая росла за баней, просовывал меж ячеек сетки. Курицы забирали травку клювами и требовали еще...

Гордей заметил, что петуха у них нет, и как-то, когда ели яичницу, спросил у бабы Тани:

– А петушка у курочек нету, да?

– Нету.

– А как они яички несут?

Баба Таня усмехнулась:

– Ишь какой образованный... Яйца они и без петуха несут. Только из них цыплята не появляются. А мне и не надо – возни с ими... Осенью порублю, бульон буду варить, а весной новых куплю. Двести рублей штука.

В домике Гордею было тоскливо, хотелось к маме и плакать. Большую часть времени он проводил во дворе, осматривал и трогал то, что там находится.

Через день или два – время для него растянулось – у забора снова появились дети.

– Привет, – поздоровались. – Ты еще тут?

– Тут. – Гордей принял взрослый вид. – Я тут долго буду. Меня мама оставила.

– А куда она уехала?

– Дела делать.

– Выходи гулять.

Гордею хотелось гулять. То есть даже не гулять, а увидеть этих детей по-настоящему, а не через щели в заборе.

– Сейчас, я только бабе Тане скажу.

Дети как-то насмешливо ответили:

– Давай.

Гордей, уже направившийся к двери в домик, услышал насмешку, остановился:

– Нужно говорить, куда уходишь. А то старшие волнуются.

– Ну да, ну да... – Теперь ответ был без насмешки.

Баба Таня отпустила легко, даже вроде бы с готовностью. И Гордей пошел к детям.

Их было трое – девочка Алина и двое мальчиков. Саша и Никита. Гордей определил, что они старше его, но немножко. Он держался напряженно, ожидая, что они сделают ему плохо или будут смеяться над ним. Но они не смеялись. Наоборот, старались подружиться.

– Хочешь, покажем, где свинью похоронили? – предложил Никита, и Гордей по голосу определил, что именно Никита с ним разговаривал из-за забора.

– Хочу.

Пошли по узенькой улице, по краям которой густо росла волосатая трава и тянулась своими верхушками к ним, как живая.

– Это крапива, – сказала Алина, – до нее нельзя дотрагиваться, а то изжалит.

– Я знаю.

– А ты откуда приехал?

Гордей помнил весь их путь с мамой, но откуда они отправились в него, сказать не мог. Не говорить же – “из дома”.

И он сказал:

– Мы с мамой долго ехали, много где были.

– Вы путешественники? – с интересом спросил Никита.

– Ага. И мама дальше поехала пу... – Гордей запнулся на сложном слове, – путешествовать.

– А я в городе живу, – сказал молчавший до того Саша, полноватый, со взрослыми глазами. – Там два миллиона человек, и метро есть.

– Я тоже в городе, – сказала Алина.

– А, ты в маленьком. У вас метро нету.

Алина не стала спорить... Гордей хотел спросить, что такое метро, но не решился. Еще подумают, что глупый.

За улицей был пустырь, почти весь заросший крапивой. Здесь крапива была на свободе и от этого, наверное, особенно крепкая и высокая. Целый крапивный лес... Лишь в одном месте крапивы не было, а была горка из красноватой земли.

– Вот тут свинью похоронили, – сказал Никита.

А Саша, страшно округлив и выпучив глаза, добавил:

– Здорове-енная была! Ее четыре человека несли. И мой папа тоже.

– А дядь Толя плакал, – сказала Алина.

– Ну дак это его свинья же! И поросята без мамы остались. Один подход уже...

Гордей поежился.

– Ты только никому, понял! – погрозил пальцем и сморщился, как старик, Никита. – Это тайна.

– Почему тайна?

– А-а, узнают в районе, эти примчатся. Всех свиней перережут. Скажут, грипп. И стайки сожгут... Никто не должен знать, понял?

– Понял. – Гордею хотелось сказать: “Я никого больше тут и не знаю, кроме бабы Тани”. Не стал. Повторил твердо:

– Понял. Не скажу.

– Айда обратно, – сказал Никита. – Скоро гуси за пивом пойдут.

Гордей не стал ничего уточнять – какое пиво, какие гуси...

Остановились у ничем не приметного забора. Постояли. И когда Гордею стало так скучно, что он решил сказать, что идет домой, из дыры в заборе полезли большие белые птицы с желтыми носами.

– Во, во! – зашептал Никита. – Гляди.

– Это гуси? – тоже шепотом спросил Гордей.

– Ну да. Не утки ж...

Первый гусь отошел в сторону и остановился, наблюдая за пролезающими в дыру. Тихо гоготал, будто подбадривал или торопил.

Когда гусей стало много – Гордей не умел до стольки считать, – первый пошел по улице, а остальные – за ним. Шли, переваливаясь, держа прямо длинные шеи. На детей не обращали внимания. А те не шевелились. И Гордей тоже.

Лишь когда гуси оказались далековато, Никита сказал:

– Погнали.

И они медленно пошли следом.

– А зачем мы за ними идем? – спросил Гордей.

– Сейчас увидишь.

Перешли улицу с асфальтом. Впереди появился маленький магазин. Гуси остановились недалеко от навеса сбоку, под которым были два высоких стола, а на земле окурки и всякий мелкий мусор.

– Сюда дед Вова пиво пить ходил, – стал объяснять Никита, – а гуси с ним ходили. Ну, он их типа пас... А на днях он умер, а гуси сами стали сюда ходить. Без него.

Гуси стояли молча, вытянув шеи, глядя на один из столов.

– Дед Вова им хлеба кидал, вот и ждут.

И Гордею стал видаться стоящий за столом старик. Он облокотился, спина согнута, одна рука сжимает ручку большой кружки, а другая ломает на кусочки ломоть хлеба. Ломает, ломает, а кинуть не может. А гуси ждут. И старик медленно растворяется в воздухе...

Через какое-то время – Гордей не мог определить, какое, – гуси заволновались, загоготали, повернулись и поковыляли обратно.

– Прикольнo, да? – спросила Гордея Алина и улыбнулась, показав пустоту вместо передних зубов.

– Да не очень, – ответил Гордей, но не стал признаваться, что видел старика-призрака.

Дальше шли по асфальтовой улице и встретили девочку с коляской. Алина тут же захныкала:

– Слав, дай мне Юрика покатать.

– Нет, мне мама не разрешает. – Девочка Слава была старше Алины, и Никиты, и Саши.

– Ну, пожа-а-алуйста! Я буду думать, что это мой братик.

Девочка Слава подумала и как-то, как королева, взмахнула рукой:

– Ну ладно. Только на дорогу не выезжай.

– Да, да!

– И называй Юриком, а не всяко.

– Угу.

Девочка Слава передала коляску Алине и куда-то побежала. А Алина, забыв про мальчишек, покатила ее, покачивая и что-то напевая.

– Она братика или сестренку хочет, а родители не хотят. Вот и катает чужих. И думает, что это ее, – сказал Никита серьезно.

– Я – домой, – объявил сразу погрузневший Саша.

– Давай еще на качели сходим.

– Не хочу.

Никита поморщился:

– Я тоже тогда. Баба, наверно, оладьев напекла. “Дисней” буду с ними смотреть.

И они пошли в разные стороны. Гордей растерянно огляделся – где дом бабы Тани, он не знал.

Поплелся наугад по асфальтовой улице и вскоре увидел магазин с навесом и столами. Долго определял, какая из четырех тянувшихся от него узких улочек была той, по которой они с детьми пришли сюда вслед за гусями. Наконец, кажется, определил. Пошагал. И вышел на полянку. Там стоял белый, большой, рогатый козел.

– Мме-е-е! – закричал он пронзительно.

Гордей попятился, а козел пошел к нему. И быстро остановился – идти дальше не давала веревка, привязанная к колу.

– Мме-е-е! – повторил козел.

– Ты кто? – спросил Гордей, хотя понимал, что это животное – козел и козел, совсем как на картинках.

– Ме-е.

– Что?

Козел смотрел на него пристально своими большими выпуклыми глазами.

– Я – Гордей, – сказал Гордей. – Я недавно сюда приехал. К бабе Тане. А мама уехала.

– Ме-е. – Козел тряхнул головой, и тут на его шее, под бородкой, звенькнул колокольчик.

“Козел с бубенчиком”, – вспомнились слова мамы, и Гордей отшатнулся... Он не знал, что такое бубенчик, но наверняка что-то вроде колокольчика. И неужели это папа... Еще одно мамино слово: “Пасется”. Козел пасся.

...И не просто так мама привезла его сюда. Баба Таня – его бабушка. Была и еще одна... умерла. Значит, и папа здесь бывал, приезжал. Ходил, и превратился. А мама не знает, и поехала его искать.

– Папа, – тихо сказал Гордей, вроде и не козлу, а так, будто в сторону, но тот отозвался протяжно, жалобно:

– Ме-е-е.

Гордей увидел, что травка вокруг него короткая, жалкая, и сорвал длинной, мягкой, протянул.

Козел поднял верхнюю губу, обнажив сероватые большие зубы. Не доставал... Гордей подошел ближе, и козел ухватил траву языком, рывками втянул в рот и стал жевать. Глядел на Гордея по-прежнему внимательно, пристально. Потом, перестав жевать, строго сказал:

– Ме-е-е!

Гордей сорвал еще травы. Дал.

– Я не верю, что ты мой папа. Превращаются только в сказках. – Сказал это специально раздельно, уверенно, чтоб посмотреть, как поведет себя этот рогатый с выпученными глазами и некрасивым голосом.

И рогатый ответил особенно громким и почти понятным:

– Мм-не-е-е!

– А?

– М-м-ня-ааа!

– Тебя?.. Тебя заколдовали?

Козел стоял и смотрел на Гордея. Жевать перестал.

– Заколдовали, правда?

И козел затряс головой, колокольчик стал звякать сипло и тускло.

– В-вот он где, голубчик! – раздалось за спиной Гордея.

Он обернулся и увидел торопливо, но медленно из-за старости идущую к нему бабу Таню. Всё в том же переднике, в платке, напolzшем на лицо. В руке – палка.

– Я уж всю деревню оббегала, паразит! Думала, собаки сожрали или украл кто на органы... Мне что, пиздюшонок такой, по твоей милости в тюрьму садиться?!

Баба Таня приподняла палку, и Гордею показалось, что она сейчас ударит. Он попятился и ткнулся спиной в твердое, но живое, шевелящееся. Это была голова козла. Рога. Сейчас как даст ими... Гордей не выдержал и заплакал...

Баба Таня не побила, козел не бодался. Несмотря на слезы, Гордей запомнил дорогу до дома. Это было совсем рядом, правда, идти нужно было по совсем узкой, почти целиком заросшей крапивой улочке.

Покричав, баба Таня быстро успокоилась и утром отпустила Гордея гулять. Он пошел к козлу с колокольчиком. С тех пор ходил к нему почти каждый день.

Иногда козла не оказывалось на месте, и Гордей представлял, обмирая от ужаса, что ночью пришла колдунья и съела его. Украла, унесла в свою избушку в лесу, зажарила в печке и съела.

Но на другой день козел появлялся. На той же полянке между заборами или дальше, возле высокого строения, которое называли водонапорка.

Случалось, лил дождь, и Гордей оставался дома. И очень тосковал. Не по козлу, который мог быть заколдованным папой... А может, как раз по нему.

С козлом он почти не разговаривал. Садился рядом, в том месте, до которого не доставала привязь, и смотрел на это рогатое, лупоглазое существо. Наблюдал за ним... По сути, всё было сказано в первый же раз, когда Гордей спросил: “Тебя заколдовали?” – а козел стал трясти головой.

В глубине души Гордею всё стало ясно тогда, но рассказывать о том, кто это в облике козла, он не решался ни бабе Тане, ни ребятам.

Ребята несколько раз приходили на полянку или к водонапорке, обзывали козла обидными словами, а Гордей молчал, лишь смотрел рогатому в глаза и взглядом просил потерпеть. Козел же тряс головой и то жалобно, то зло мекал. Как-то Никита взял ком сухой земли и бросил в козла. Гордей крикнул:

– Перестань! Нельзя бить!

– Н-ну, – удивился Никита. – А тебе жалко, что ль? Это ж козлиная вонючий!

– Нельзя! Он хороший. И за то, что бьешь, – в тюрьму. Я по телевизору видел.

Никита поухмылялся, но больше в козла ничем не кидал. Да и обзывать перестал. А Гордей на другой день принес козлу печеньку, и тот ее жадно съел. Потом сказал:

– М-ме-е-е!

– Вкусная?

– Ммме-е-е-е!

– Я завтра еще принесу...

Странно, но о маме Гордей вспоминал всё реже. Нет, он помнил о ней, но вот так, чтобы хотелось заплакать, не вспоминал.

Козлу он про маму не рассказывал. Расскажет, и, может, не то что надо. Только хуже сделает... Решил: мама приедет и сама всё увидит. И что-нибудь произойдет.

Дни текли однообразно, но быстро. Правда, дождливых становилось всё больше. Эти дни Гордей научился переживать – лежал на кровати, стараясь не шевелиться, чтоб не скрипела сетка, и мечтал, что папу расколдуют, и они все вместе – он, мама и папа – вернутся туда, где жили в то время, которое Гордей не помнил. Запомнил лишь одно – им было там и тогда хорошо...

Иногда приходил большой, хромоногий старик, деда Гена, приносил меду, и они с бабой Таней его медленно ели с чаем. Гордею мед не нравился.

Раза три, а может, на два больше, баба Таня водила его в магазин. Говорила перед этим:

– Мать жива твоя, деньги перевела... Копейки, конечно, но уж чего... Пойдем отоваримся. Не голодом же сидеть.

Выдавала ему хорошие штанишки и рубашку, и они шли в магазин. Баба Таня покупала крупу, консервы, бутылочки, яблоки, которые заставляла Гордея есть – “а то зубы выпадут, а другие не вырастут”, – и чего-нибудь вкусного. Конфет или печенек. Этим вкусеньким Гордей делился с заколдованным папой.

Совсем неожиданно приехала мама. Шумная, помолодевшая.

– Так, собираемся, – стала бегать по домику, – надо на вечерний поезд успеть.

– Что, устроилась? – скрипнула голосом баба Таня, и Гордей сквозь радостную неожиданность появления мамы заметил, что так скрипуче баба Таня с ним не говорила.

– Ага! Такой попался! С довеском согласен взять... Что, четыре года, приживется. Они ж в пять забывают, что раньше было... Посмотрим... Так, – глянула на Гордея, – одевайся живо – автобус через пятнадцать минут! А нам на поезд надо успеть. – И сама стала его одевать.

Быстро попрощалась с бабой Таней, что-то сунула ей в руку и покатила сумки на колесах. Гордей семенил рядом.

Когда проходили ту улочку, что вела к поляне, Гордей остановился.

– Чего ты? – удивилась мама.

– А папа? – сказал Гордей. – Папа там... Надо папу расколдовать.

– Какой папа еще? Пошли быстрее!

– Нет! – Гордей побежал по улочке.

Козел был на месте. Увидел Гордея и сказал громко, почти пропел:

– М-м-е-е-е!

– Пап, мама приехала! – крикнул Гордей. – Мама! – Обернулся и крикнул маме: – Вот папа, его надо расколдовать и забрать!

Мама бросила сумки, подскочила к Гордею и присела перед ним, больно сжала плечи. Смотрела в глаза своими глазами. Незнакомо смотрела, как чужая.

Потом обняла и зашептала:

– Сыночек... Сыночек ты мой бедненький... Сына...

А потом отстранила от себя и сказала строго:

– Это не папа, это козел простой. Незаколдованный. Папа дома и ждет нас. Понял? Он не козел, его зовут Виталий. Понял? А это просто козел. Животное... Всё, пошли. Опоздаем.

И повела Гордея туда, где лежали сумки.

Гордей пытался понять слова мамы и забыл оглянуться.

Максим Аверин Одинокий волк



Всё же человек я не спокойный – не могу сидеть на месте! Долго не выдерживаю павильонных съемок, вообще замкнутого пространства, люблю экспедиции. 2004 год. Многосерийный фильм “Карусель”. Режиссер, Вячеслав Никифоров, утвердил меня сразу. Роль мне понравилась. Военный хирург попадает в плен. Чудом спасается, но из-за травмы теряет память. Возможно, кто-то скажет, что сюжет незамысловат: в кино сейчас все кому не лень теряют память, да и ужасами плена мало кого удивишь. И всё же в этом фильме есть что-то особенное. Это тот самый случай, когда я играл не диагноз (амнезия), а сочинял путь человека к себе, возвращение к своей любви, к жизни.

В то время обстановка была нестабильной, поэтому съемочную группу не пустили в Чечню. Съемки проходили сразу в нескольких городах: Москву снимали в Минске, Кавказ – в горах Адлера.

Один из эпизодов должен был сниматься в волчьем логове. Если кто-то считает, что волки похожи на собак, он сильно ошибается. Волки – животные стихийные, хищники вынужденные. Про таких обычно говорят: “Не мы такие – жизнь такая”. Продюсеры предупредили, не волнуйся, мол, всё продумано: будешь сниматься за защитной сеткой, в недоступной для волков зоне. Так оно и было. Только недоступной для волков оказалась съемочная группа, оставшаяся по ту сторону сетки и бросившая в вольер меня. Ох и страху я натерпелся! Мама дорога! Вот вам, ребята, о зверятах.

За несколько недель до встречи со зверушками весь мой игровой костюм привезли на знакомство к хищникам. Так сказать, посмотреть меню. Труппа моих будущих зубастых партнеров состояла из двух взрослых волчиц и четырех волчат – милых малышек, беззаботно резвящихся под теплым адлерским солнцем, но не спускающих с тебя глаз. Взгляд у них особенный, тяжелый. Волки ловят каждый твой жест: а вдруг ты враг? Хищник нападает только в том случае, если чувствует опасность. А тут, представьте себе, приехали настоящие бандиты, прикидывающиеся съемочной группой.

Меня отправили на несколько дней раньше – знакомиться с партнерами, налаживать отношения. Сначала всё было замечательно, волчица даже как-то вильнула радостно хвостом. Правда, было непонятно, чему она так радовалась – вряд ли предстоящей творческой работе.

Знакомство начали с прогулки и купания в горной реке. Волчица, звали ее Стеша, охотно дала себя искупать. Процесс ей понравился, девушка даже развеселилась, а я расслабился. Вдруг волчица, ощутив свободу в нашей игре, слегка прикусила меня в области паха (простите

за подробности, но она всё же женщина, и ничто женское ей не чуждо). Вроде милая шалость доброй зверушки, а мне уже привиделся скорбный финал.

На съемках с волками всегда присутствовала Аля – девушка неробкого десятка, ох уж она вертела и крутила своими подопечными! Аля тогда сказала мне: “Не вздумай показать животным свой страх! Они это сразу почувствуют и смогут над тобой властвовать”. Думаю про себя, конечно, чего ж тут бояться? Ха! Вот нисколько не боюсь! Но ездить на съемки буду на всякий случай голодным.

Волков, которые с нами тогда снимались, бросила предыдущая группа, а Аля подобрала, выкупила и выводила их в своем питомнике. Животные отогрелись, но обида на людей осталась. Однажды мы снимали в горах, и одна волчица, снова оказавшись на природе, опьянела от свободы, вырвалась из рук своей благодетельницы и помчалась вдаль. Что это было? Зов инстинкта? Бегство ее было стихийно и страстно, остановить – невозможно. Все мы замерли в ожидании трагедии. (Мы снимали в условиях живой природы, но не дикой, а значит, волчица могла погибнуть.)

Аля закричала вслед убегающей волчице. Закричала отчаянно, страшно, как может кричать человек при надвигающейся катастрофе. В горах эхом разнеслось имя волчицы. И тут произошло чудо: волчица остановилась как вкопанная. Несколько секунд она стояла не шелохнувшись. Что произошло в ее голове? Испугалась неведомого? Черт его знает. Когда волчица обернулась, в ее глазах было что-то такое, что напоминало отчаяние преступника, который, сдавшись, не успел совершить преступление. Что-то было в этом взгляде одинокое.

Ага. Вот тебе на заметку: этот взгляд надо обязательно запомнить – пригодится. В финальных кадрах “Карусели” я использовал это наблюдение. Мой герой возвращается к жизни. Он дома. Рядом его любимая женщина. Он прошел этот путь. Но о чем говорит его взгляд? Где она, эта свобода: в долгом пути к своему дому или же в неведении своего рода и племени? Где хорошо: в том мире или этом?

Евгения Некрасова Две ненастоящие болгарские сказки



Сказка первая. Лошадиный марш

*...и стоило жить,
и работать стоило.*

В.Маяковский. Хорошее отношение к лошадям

В июле, когда звезды совсем прижало к земле, Тодору стало ясно, что его лошадь совсем состарилась и больше не сможет работать. Пенсии кобыле не полагалось, старости для нее не существовало. Тодор выпустил лошадь на улицу, чтобы она доходила: изголодалась и упала где-нибудь замертво. Дальше он собирался погрузить ее тело на повозку, запряженную в трактор, отвезти в поле и закопать. Пока же лошадь ковыряла улицы Кирилова сколотыми копытами и мазала ворота жителей бельмовым глазом. Кобыла не просто ковыляла, а вышагивала, маршировала по грунтовке, высоко поднимая копыта, будто желая превратить свою последнюю прогулку в парад. Спотыкаясь, пошатываясь, но всё же ступала, изредка останавливаясь постоять-пощипать сухих былинки и перевести лошадиный дух.

Кобылу принялись подкармливать то русские, то британские фермеры. Они жили через дом друг от друга и пили вместе недорогое местное вино. Кирилово за последнее десятилетие наполовину заполнилось иностранцами: русскими, а чаще – британцами. Эти нестарые еще приезжие – сорока или чуть больше лет – будто замещали покидающих Кирилово молодых людей. Такая же история происходила во всех окрестных селах. Иностранцы привозили в них всю взвесь молодой жизни – свежие еще, неповявшие браки, расхристанные расставания, романы, измены, вечеринки, современные методы фермерства, вай-фай (впрочем, он был и до них), а также звериные *charities*³. Одна британка содержала на краю соседнего села кошачий приют, а в Елхове снова англичане открыли магазин ношеной одежды, доходы от которой шли на собачий питомник. Не то чтобы местные оказались жестокосердеем, чем приезжие, а просто

³ Благотворительные организации (англ.).

все деревенские мира относились к зверям проще и практичнее, чем городские. А все новоселы Фракийской долины были иностранцами из городов.

Лошадь не кошка и не собака, и ее никто не мог забрать к себе на двор, положить на симпатичную лежанку с напечатанными на ней следами лапок и почесывать за ухом во время просмотра сериалов, но еду ей выносили регулярно. Она держала свой прайд от русских ворот к британским, иногда доходила до расположенного за владениями пасечника Христо поля, где еще не выгорела вся трава. Русские и английские слова часто роились вокруг полинявших ушей лошади, она даже начала понимать их смысл. Они были хорошие, часто ласкательные, жалостливые, всегда возвещающие о главных вещах на свете – еде и питье. Русские слова кобыла сначала полюбила сильнее, они казались почти родными – звучавшими так, если бы болгарские фразы настойчиво проговаривали сквозь частокол дождя. Лошадь ощущала в русской речи, обращенной к ней, сочувствие и жалость. Потом она даже сильнее полюбила английские слова. В них звучали сочувствие и уважение. Из-за последнего кобыле почему-то казалось, что британцы точно будут ей давать еду до самой смерти.

Лошадь ковыляла словно на празднике, на большом параде, хоть ее саму поедали мухи и мошки. Она мечтала упасть и поваляться по траве, почесывая себе спину, как в молодости, но страшно боялась не подняться снова, поэтому не падала, а продолжала свой марш. Между тем на кобылу уже ходила посмотреть Смерть, садилась рядом прямо на сухую траву, глядела, не отрывая костяных дыр, но пока не трогала. Лошадь чувствовала присутствие нежити, нервно дергала облезлым хвостом и кривой шеей, но вышагивала-вышагивала, еще выше задирая копытца и колени. Смерть ухмылялась и отправлялась проверять памятные листки на воротах сельских дворов. Болгары вешали и вешают а-четыре-распечатки с портретами своих умерших на ворота сельских домов, двери подъездов, деревья, автобусные остановки и стенды при кладбищах. Эта традиция называется Вспомен. Она помогает людям помнить о своих усопших и напоминать о них остальным, а Смерти – вести точную статистику своей работе.

Тодор сначала не обратил на парад своей бывшей лошади внимания, но потом вдруг задумался и решил, что кляча позорит его перед всем селом, клянчя еду у приезжих. Однажды ночью, подговариваемый бутылкой ракии, он вывез из сарая старый жигуль, оставшийся у него еще с тех времен, когда каждую пятницу всё телевидение в стране было только на русском. Тодор давно уже передвигался на фольсвагене, но жигуль не отдавал на металлолом из-за ностальгии. Из Советского Союза в Евросоюз! – так он шутил про себя и свой автомобиль. Когда Тодор поехал на кобылу, она увидела приближающегося хозяина и даже узнала его прежнюю машину, но не кинулась в сторону, а принялась красиво маршировать на месте. Собаки вокруг драли черные горла. Тодор затормозил в метре от лошади, выругался и, возможно, заплакал (не было слышно из-за закрытых советских окон). Лошадь продолжала вышагивать на месте как механическая. Смерть с уважением посмотрела на клячу и погладила капот машины. Там сразу образовалась широкая ржавая полоса. “Жигуль” громко дал задний ход по тоннелю собачьего ора. Кобыла аккуратно промаршировала на обочину и закусила свое новое спасение подгнившей смоквой. Смерть ушла, немного повторяя тонкими ногами лошадиный марш.

Лошадь проходила по Кирилову еще почти месяц. Все ниже поднимались ее коленки и копыта. Все медленней двигались ее доедающие челюсти. Несмотря на постоянное кормление, кобыла стремительно теряла вес. Кожа тащилась за ее скелетом, как жеребенок за матерью. Старость наматывала вокруг лошади свои железные круги. Смерть всегда говорила, что ее зря обвиняют. “Вопросы к старости, болезням и убийцам (вольным и невольным)”, – кричала она никому-неслышная и объясняла, что она только доделывает, подбирает за этой тройкой. Кобыла не могла больше маршировать. Она лежала у русских ворот и пила прямо из ведра, которое держала у лошадиного рта Анна из Москвы. Когда женщину позвали из дома и она ушла, оставив ведро с водой, к лошади приблизилась Смерть. Кобыла поняла, кто перед ней, печально профырчала и положила острую морду на колючую землю.

Вместо того чтобы вытянуть душу через левое ухо, как это она обычно делала с лошадьми, Смерть быстро подковала кобылу медью с клеймом в один лысый череп. Когда четвертая подкова оказалась на копыте, лошадь встрепенулась, подняла сначала голову, а потом вернулась на ноги. Ее захватил неожиданный, острый прилив сил. Мир, неразличимый прежде левым глазом, и мятый, будто накрытый целлофановым пакетом, – правым, теперь виднелся остро и ярко, как отремонтированный. Кобыла впервые в жизни различила красный, который обволакивал старое пластиковое ведро, и удивилась ему. Смерть видела всё не черно-белым, а в точно таком же, как и большинство людей, цвете, значит, и ее лошадь должна была смотреть так же. У кобылы не осталось теперь кожи, шерсти и даже глаз, она глядела теперь пустыми глазницами и серела одним лишь острым, прочным скелетом. Смерть накинула на нее седло, упряжку и забралась сверху. Со Смертью на хребте, невидимая для жителей села, лошадь бойко помаршировала по дороге. Оба радовались: кобыла новой судьбе, а Смерть тому, что ей не нужно больше таскаться пешком по Фракийской долине.

Тело той кобылы так и не обнаружили, и нечего было закапывать Тодору.

Лошадиный марш

Цок-цок-цок-цок,
Смерть присела
На хвосток,
Смерть устроит кровосток.
(Я тоже люблю эту группу,
Особенно песню про холодец,
Но сейчас у меня не русская,
а болгарская сказка.)
Но откуда кровь у этой лошади?
Пойдем лучше на концерт на площади.

Цок-цок-цок-цок,
Отыщи-пойди исток
Жизни.
А я скажу вместо лошади
(так как лошади не разговаривают):
он – в смерти.

Сказка вторая. Гости-аисты

*никто не бросает дом
пока тот не начнет шептать
задыхаясь тебе в ухо
уйходи,
беги от меня сейчас же
я не знаю, во что превратился
но я знаю, что где угодно,
безопаснее, чем здесь.*

Варсан Шайр. Дом⁴

Этой весной аисты поспешили – прилетели в Кирилово в марте. Вероятно, их сбило с толку толстое солнце, залившее желтым маслом всю Ямбольшую область. Птицы широкими распятиями парили над полями, выискивая себе подходящий столб. Аисты давно уже заводили семьи на этих высоких столбах, на которых электрики устанавливали специальные подставки для массивных, похожих на огромные шапки гнезд. Сначала, как обычно, прилетал самец, устраивал гнездо, а через несколько дней появлялась самка. В этот раз, как только птицы заселили столбы своими белыми молодыми семьями, Кирилово стиснули морозы. Воздух сделался колючим, поля покрылись холодным стеклом. Солнце висело тут же, но не могло выдрать село и окрестности из морозных челюстей. Аисты втащили головы в плечи, засели парами в своих высоких квартирах, вжавшись друг в друга. Холодные ветра, шагающие по электрическим проводам, лезвиями резали птичьи макушки. Аисты сильнее вжимали шеи, щурили глаза и бились в мелкой дрожи, обнимаясь. Задача создания потомства забылась, надо было выживать. Мороз не прекращался. Перья птиц покрылись ледяной коркой, сковывающей крылья. Аисты не могли летать и добывать пищу. Из последних сил они спустились со столбов в поля и пытались прятаться от морозных ветров в низинах и лысых кустарниках и пешеходами найти хоть что-нибудь съедобное. Еды попадалось совсем мало, а по ночам морозные ветры у земли рубили еще непереносимей, чем у проводов. Аисты теряли силы, неподвижно сидели парами в полях, прижавшись друг к другу и коченея.

Люди хватились птиц. Кто-то заметил уже их на столбах, удивился такому их раннему прибытию, а теперь исчезновению. Кириловцы отправились искать птиц и нашли тех в полях, полуживых, в ледяных коконах. Завернув аистов в куртки и одеяла жители села на осторожных руках отнесли замерзших в свои дома. Птицы были истощены, поэтому не сопротивлялись и даже не боялись. Местные любили аистов, с гордостью отчего-то всегда смотрели на них, проходя или проезжая мимо столбов-постаментов с одной или двумя белыми фигурами. Аисты были словно не правящая, но важная дворянская династия, символ и доказательство благородства и красоты, даже культуры, короли Кирилова и окрестностей, время от времени навещающие своих простоватых родственников-людей.

Этих птиц нельзя обижать или тем более убивать. Три года назад в одном из сел Ямбольшой области два аиста погибли в собственном гнезде из-за неисправности в проводке. Электрика, дежурившего на этом участке, не уволили (не было точно известно, его ли это вина), но после гибели птиц от него ушла жена, которая уже целую жизнь хотела этого, но передумывала, жалела мужа, он был хорошим человеком, она просто не любила его, и вот наконец решилась. Аистов здесь очень любили.

⁴ Перевод с англ. Е. Некрасовой.

Пять кириловских дворов приютило шестнадцать птиц. Почти всех спасли и принесли к себе болгары. Русские и британцы понимали важность аистов для коренных кириловцев и не вмешивались, разве что предлагали свою помощь с кормом. Птиц поселили в отапливаемых пристройках и даже свободных комнатах домов. На сходе общины решили держать аистов до настоящего, южного потепления. Кмет выделил деньги на кормление птиц из общинного бюджета. Трем аистам с обморожениями вызвали ветеринара из Елхова. Тот отказался брать плату за работу.

Вся кириловская жизнь парила теперь вокруг гостей-аистов. У ворот принимающих останавливались сельские жители и, перекрикивая лающих собак, интересовались здоровьем птиц. Женщины, мужчины, дети, старики из избранных семей ухаживали за аистами, бросали им куски сочного мяса, подкладывали птицам чистой соломы. Дети ходили к местным рекам и озерам отлавливать только что проснувшихся, ничего не понимающих шатунских лягушек и змей. В одном из дворов, где реабилитировались аисты, для них задушили и освежевали четырех кроликов, а в другом, даже не принимающем, – козленка по кличке Мартин. Его хозяйка принесла мясо по домам, в которых приходили в себя птицы. Мартина раздали крылатым гостям, люди ни кусочка не взяли себе. Каждое утро начиналось с проверки аистов и их кормления. Все остальные животные в хозяйстве и даже дети временно потеряли прежнее внимание. Аисты забрали на себя всё. Домашние звери и птицы удивлялись новым существам, самые понимающие ревновали. Кошки переворачивали горшки с рассадой, козы лезли в огороды, петухи беспрерывно сипло кукарекали, поселяя Кирилово в вечное утро.

Стойка нашла аистов там, где их уже никто не смотрел, – в виноградниках на холме, когда-то колхозных, а теперь сдаваемых администрацией внаем сельским жителям. Виноград тоже покрывала ледяная глазурь. Вино будет сладким или не будет вовсе. Женщина принесла домой на руках самца, завернутого в старую куртку ее мужа, а самку в одеяле притащил соседский мальчик. Стойкины птицы были больше остальных и белее, най-белые, ослепительные, почти неоновые, она это всё сразу заметила, но людям отмахивалась – мол, какие-есть-обычные-штекели. Хотя понимала – ее птицы самые красивые и белые, как ангелы. Одной из обмороженных птиц была как раз чудесная Стойкина аистиха. Ветеринар удивился, увидев невиданную такую птицу, сфотографировал ее на айфон и переслал картинку своему приятелю-орнитологу из Варны.

Аистов определяли только сложным, разветвленным семьям, в которых участвовало по меньшей мере два работника, а не одиночкам. Но Стойке не могли отказать, потому что она много лет работала на почте, а главное – в Кирилове помнили и уважали ее мужа Илию – врача, умершего восемь лет назад. Пока он жил, люди села лечились тут же, а теперь ездили в Елхов за медицинской помощью. Стойка, как и было принято, повесила на ворота памятный листок мужа через девять дней после его смерти и никогда не снимала, только меняла распечатку, когда та приходила в негодность. Внучка соседки подарила ей однажды целую пачку целлофановых файлов для а-четвертых бумаг. Стойка теперь клала листок в файл, отчего тот совсем не портился от дождя, а только выцветал на солнце. Теперь Вспомена хватало на год. Жители села, бывало, останавливались у ворот и звали ее, чтобы поговорить – повспоминать Илию.

Сын Стефан жил в Бургасе и работал в туристическом агентстве, приезжал раз-два в месяц, в какую-нибудь среду, чтобы свозить мать на рынок в Елхов и помочь с хозяйством. С детства мягкий, улыбчивый, най-веселый человек села Стефан раздражал отца своей несерьезностью. С юности он пропадал неизвестно где, мало помогал со скотиной и совсем не интересовался медициной, как отец ни пытался привить ее сыну, заставляя его помогать с перевязками и даже операциями. Когда после долгого отсутствия Стефан появлялся в селе, то улыбался-улыбался всему миру подряд, как подсолнух солнцу. Дурак – ставил диагноз Илию. А Стойке ее сын нравился. Хорошо, когда кто-нибудь есть веселый. Нравится-путешествовать-и-встречать-разных-людей, говорил он, улыбаясь. На что Илия, видевший последние тридцать лет одних и

тех же 150 человек (он умер до массового приезда иностранцев), изучивший тела односельчан вдоль и поперек, различавший по звуку их сердцебиение (он был грандиозный врач), поднимал сына на смех. Зачем нужны новые люди, когда они все всё равно одинаковые! Сердце, желудок, печень, желчный пузырь, селезенка, сердце, кишечник и прочее, что тухнет и изнашивается с возрастом. Стефан отказался поступать в медицинский, ушел из дома и закончил факультет туризма и гостиничного менеджмента в Варне. Илия отказал ему от дома, только в последние годы, когда стал меньше пить и больше болеть, он разрешал сыну появляться по праздникам. После смерти отца Стефан стал навещать мать чаще.

Сейчас, без мужа, который умер, и сына, который уехал, у Стойки в доме кроме нее жили: две козы – мать и дочь, три курицы, один петух и один пес. Теперь добавились аисты. Стойка поселила их в бывшей приемной мужа, чудной вытянутой комнате с четырьмя маленькими окнами а-четыре, которая была такая еще до превращения в медицинский кабинет. От Стойкиной кухни и спальни его отделяла крохотная прихожая. Окна в приемной закрывались ставнями, и включался белый пронизывающий больничный свет. Птицам Стойка открыла ставни, а свет включала только когда приходила кормить их вечером. В комнате остался старый тапчан, служивший кушеткой для осмотра пациентов, и два старых деревянных шкафа с медицинскими книжками на русском и болгарском. Всё это Стойка занавесила сеткой для теплиц и накидала на пол соломы для гостей-аистов.

Жизнь летела своим чередом. Стойка работала на почте с семи утра до полудня каждый день, кроме воскресенья, занималась хозяйством и животными, кормила аистов лягушками, которые ей приносили кириловские дети, вымывала за белыми гостями пол. Птицы удивительно послушно уходили в сторону, образуя коридор швабре. Стойка дивилась такому мудрому поведению, но потом решила, что стыдно думать про аистов с самого начала, что они поголовно глупые.

От еды и тепла аисты совсем похорошели. Ломанные морозом фигуры теперь приобрели осанку, расправились. Птицы стали будто бы еще больше размером и сильно напоминали чуть пригнувшихся ангелов. На аистов приходили смотреть кмет, соседи, дети соседей, остальные люди Кирилова. Дети наперегонки таскали лягушек, надеясь в обмен посмотреть на птиц. Стойка поначалу пускала всех, но потом устала, а главное, поняла, что аисты тоже теряют силы от того, что их ворошит каждый день пять пар глаз. Она принялась забирать у детей лягушек у калитки, дарила им в ответ прошлогодние яблоки или орехи. Или отправляла с добычей к другим дворам, где тоже гостевали аисты, если лягушек накапливалось много. Дети уходили недовольные. Они желали глядеть на най-белых, най-больших аистов. Три раза короткие и щуплые люди – дети – забиралась на Стойкин двор ранним утром, чтобы посмотреть на птиц через мутное окошко старого сельского дома. Восьмилетний Христо однажды первый из всех оказался у одного из маленьких, а-четвертых окон, вдруг закричал и дернулся прочь. Когда он пришел в себя, всмотрелся снова и сказал, что померещилось. Другие вовсе ничего не разглядели, видимо, птицы ушли в дальний угол комнаты.

Аистов отчего-то сильно не полюбили другие Стойкины животные. Пес Себастьян сделался совсем нервным со дня появления чудесных гостей, обливал лаем сверху-донизу дверь, закрывающую птиц от мира, рвался за нее, будто пытаясь пробиться к самому важному и возмутительному куску мяса в своей жизни. Каждый раз, когда Стойка заносила аистам еду и воду, собаку приходилось сажать на цепь. Лойла – белая козочка, но не най-белая, как аисты, а с желтоватым налетом, – совсем развредничалась – пролазила сквозь ограждение и жевала всё, что встречала, не от голода, а от своей подростковой вредности. Лойлина мать Барбара, кофейного цвета, умудренная, крупная, малоподвижная, просто бодала Стойку неподвижным и неясным взглядом из-за сетки-вуали. Куры тревожно слонялись по своей части загона и мало неслись. Их петух пытался улететь, даже разгонялся для этого, но всё время передумывал. Стойка только удивлялась, сколько в животных человеческой ревности.

В начале апреля мороз ушел из Фракийской долины. В то утро, когда солнце впервые забралось высоко над Кириловом и уверенно принялось греть землю, Стойка пришла кормить аистов и увидела двух голых людей, спящих на соломе, прижавшись друг к другу. Самих аистов в комнате не было. Стойка изумленно застряла в двери, не способная двинуться. Мычала корова, блеяли бараны, орал петух – но все соседские, не ее. На Стойкиной дворе и вовсе торчала возмутительная тишина. Один человек пошевелился, но не проснулся. Стойка поставила таз с лягушками и ведро с водой и приблизилась к спящим. Мужчина и женщина, совсем еще молодые, примерно двадцатитрехлетние, были смуглые, густоволосые, лохматые. Темную их кожу почему-то покрывали мелкие перья, оставшиеся, видимо, от аистов. Стойка рассудила, что это влюбленная цыганская пара, забравшаяся к ней в дом. Из-за этого озарения хозяйка перестала бояться и принялась решительно расталкивать спящих и сразу расспрашивать их, как они сюда попали. А главное – куда они дели белых птиц.

Гости просыпались, пугались Стойки, дергали по сторонам головы, оглядывали себя, стыдливо закрывали себя, пытались говорить со Стойкой на непонятном языке, потом на втором непонятном языке (Стойка расслышала, что этот второй – английский, но она ни на каком другом, кроме болгарского, не говорила). Гости неуверенно поднимались на ноги, махали руками, жались друг к другу, дрожали от холода. Молодой человек снял тепличную сетку с топчана и укрыл ей себя и девушку. Гости – двухголовым существом – говорили, не перебивали друг друга, по очереди, показывали в сторону гор, видневшихся из Стойкиного двора, в них уже жила Турция. Гости снова махали руками, изображали у себя длинные носы, показывали наверх, то есть на небо. Гости говорили, дрожали под тепличной сеткой. Выжившая лягушка выпрыгнула из таза и, покачиваясь, допрыгала до человеческих ног – четырех босых, в белых, свалевшихся перьях, и двух в тапках на хлопковый носок. Девушка увидела лягушку, и ее вырвало. Стойка очнулась и по-болгарски пообещала вернуться. Она вышла из комнаты, прикрыла дверь. Пока искала вещи, она осознала, что это за люди. Месяц назад Васил из соседнего села рассказывал ей на почте, как его приятель провел из Турции через горы двух нелегальных мигрантов (откуда они бежали в Турцию, не говорилось). За тысячи евро приятель Василя должен был посадить их на машину и довезти до Софии, а оставил как раз здесь, неподалеку от Кирилова, пообещав забрать их на автомобиле, но не возвратился. Стойка тогда решила, что это очередная сказка, каких много рассказывал Васил, а сейчас подумала, что напрасно не закрыла дверь на засов, как всегда делала, когда запирала аистов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.